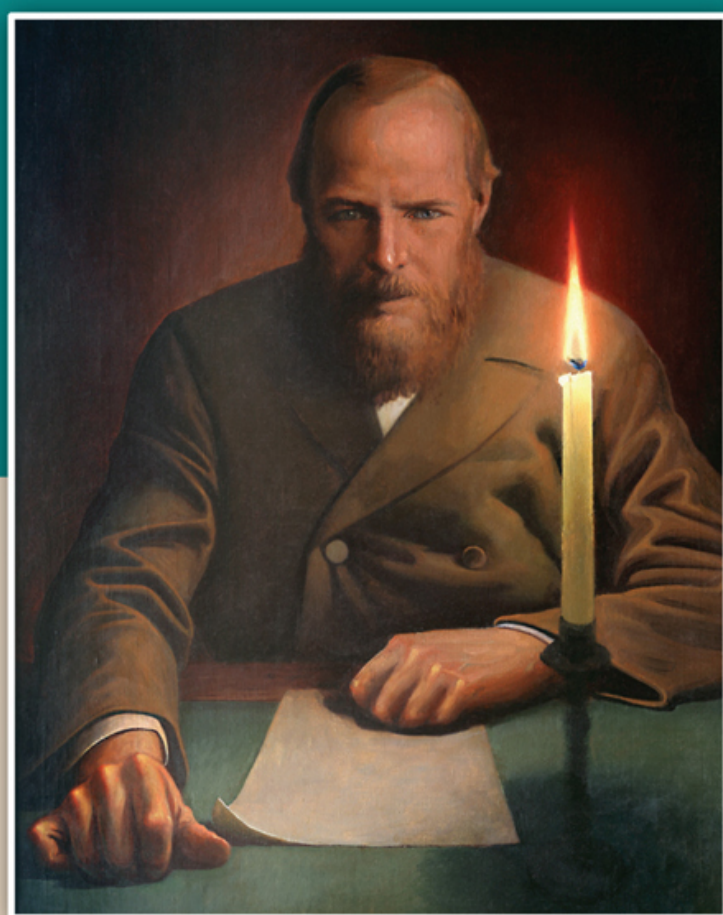


# БРАТЯ КАРАМАЗОВЫ Части 3 и 4



РУССКАЯ КУЛЬТУРА

ФЁДОР ДОСТОЕВСКИЙ

Федор Достоевский

**Братья Карамазовы.**  
**Роман в четырех частях**  
**с эпилогом. Части 3, 4**

ТД "Белый город"

1879-1880

УДК 821.161.1-3

ББК 84Р1-4

### **Достоевский Ф. М.**

Братья Карамазовы. Роман в четырех частях с эпилогом. Части 3, 4  
/ Ф. М. Достоевский — ТД "Белый город", 1879-1880

ISBN 978-5-00119-031-8

Последний из романов великого русского писателя Ф.М. Достоевского – «Братья Карамазовы» – навсегда вошел в число шедевров отечественной и мировой литературы. Настоящее издание представляет полный текст романа, выверенный по лучшим изданиям XIX века. В первый том в качестве приложения включена статья ведущего современного литературоведа Г.И. Романовой «Символ русской культуры». В приложения ко второму тому вошел знаменитый труд философа В.С. Соловьева «Три речи в память Достоевского», представляющий собой первую попытку религиозно-философского анализа произведений Достоевского. Издание адресовано самому широкому кругу читателей, интересующихся отечественной литературой и культурой.

УДК 821.161.1-3

ББК 84Р1-4

ISBN 978-5-00119-031-8

© Достоевский Ф. М., 1879-1880

© ТД "Белый город", 1879-1880

## Содержание

Часть третья	6
Книга седьмая	6
I	6
II	14
III	18
IV	28
Книга восьмая	33
I	33
II	40
III	44
IV	52
V	56
VI	66
VII	72
VIII	83
Конец ознакомительного фрагмента.	94

# Федор Михайлович Достоевский

## Братья Карамазовы

© Доронин Н.Г., иллюстрации, 2019

© ООО ТД «Белый город», 2019



## *Часть третья*

### **Книга седьмая**

#### *Алеша*

#### **I**

### **Тлетворный дух**

Тело усопшего иеросхимонаха отца Зосимы приготовили к погребению по установленному чину. Умерших монахов и схимников, как известно, не омывают. «Егда кто от монахов ко Господу отыдет (сказано в Большом требнике), то учиненный монах (то есть для сего назначенный) отирает тело его теплою водой, творя прежде губою (то есть греческою губкой) крест на челе скончавшегося, на персех, на руках и на ногах и на коленях, вящше же ничто же». Все это и исполнил над усопшим сам отец Паисий. После отирания одел его в монашеское одеяние и обвил мантиею; для чего, по правилу, несколько разрезал ее, чтоб обвить крестообразно. На голову надел ему куколь с осьмиконечным крестом. Куколь оставлен был открытым, лик же усопшего закрыли черным воздухом. В руки ему положили икону Спасителя. В таком виде к утру переложили его во гроб (уже прежде давно заготовленный). Гроб же вознамерились оставить в келье (в первой большой комнате, в той самой, в которой покойный старец принимал братию и мирских) на весь день. Так как усопший по чину был иеросхимонах, то над ним следовало иеромонахам же и иеродиаконам читать не Псалтирь, а Евангелие. Начал чтение, сейчас после панихиды, отец Иосиф; отец же Паисий, сам пожелавший читать потом весь день и всю ночь, пока еще был очень занят и озабочен, вместе с отцом настоятелем скита, ибо вдруг стало обнаруживаться, и чем далее, тем более, и в монастырской братии, и в прибывавших из монастырских гостиниц и из города толпами мирских нечто необычайное, какое-то неслыханное и «неподобающее» даже волнение и нетерпеливое ожидание. И настоятель, и отец Паисий прилагали все старания по возможности успокоить столь суетливо волнующихся. Когда уже достаточно ободняло, то из города начали прибывать некоторые даже такие, кои захватили с собою больных своих, особенно детей, – точно ждали для сего нарочно сей минуты, видимо, уповая на немедленную силу исцеления, какая, по вере их, не могла замедлить обнаружиться. И вот тут только обнаружилось, до какой степени все у нас приобькли считать усопшего старца, еще при жизни его, за несомненного и великого святого. И между прибывающими были далеко не из одного лишь простонародья. Это великое ожидание верующих, столь поспешно и обнаженно выказываемое и даже с нетерпением и чуть не с требованием, казалось отцу Паисию несомненным соблазном, и хотя и задолго им предчувствованным, но на самом деле превысившим его ожидания. Встречаясь со взволнованными из иноков, отец Паисий стал даже выговаривать им: «Такое и столь немедленное ожидание чего-то великого, – говорил он, – есть легкомыслие, возможное лишь между светскими, нам же неподобающее». Но его мало слушали, и отец Паисий с беспокойством замечал это, несмотря на то, что даже и сам (если уж все вспоминать правдиво), хотя и возмущался слишком нетерпеливыми ожиданиями и находил в них легкомыслие и суету, но потаенно про себя, в глубине души своей, ждал почти того же, чего и сии взволнованные, в чем сам себе не мог не сознаться. Тем не менее ему особенно неприятны были иные встречи, возбуждавшие в нем, по некоему предчувствию, большие сомнения. В теснившейся в келье усопшего толпе заметил он с отвращением душевным (за которое сам себя тут же и попрекнул) присутствие, например, Ракитина, или далекого гостя,

обдорского инока, все еще пребывавшего в монастыре, и обоих их отец Паисий вдруг почему-то счел подозрительными – хотя и не их одних можно было заметить в этом же смысле. Инок обдорский изо всех волновавшихся выдавался наиболее суеязящимся; заметить его можно было всюду, во всех местах: везде он расспрашивал, везде прислушивался, везде шептался с каким-то особенным таинственным видом. Выражение же лица имел самое нетерпеливое и как бы уже раздраженное. А что до Ракитина, то тот, как оказалось потом, очутился столь рано в ските по особливому поручению госпожи Хохлаковой. Сия добрая, но бесхарактерная женщина, которая сама не могла быть допущена в скит, чуть лишь проснулась и узнала о преставившемся, вдруг прониклась столь стремительным любопытством, что немедленно отрядила вместо себя в скит Ракитина, с тем чтобы тот все наблюдал и немедленно доносил ей письменно, примерно в каждые полчаса, *о всем, что произойдет*. Ракитина же считала она за самого благочестивого и верующего молодого человека – до того он умел со всеми обойтись и каждому представиться сообразно с желанием того, если только усматривал в сем малейшую для себя выгоду. День был ясный и светлый, и из прибывших богомольцев многие толпились около скитских могил, наиболее скученных кругом храма, равно как и рассыпанных по всему скиту. Обходя скит, отец Паисий вдруг вспомнил об Алеше и о том, что давно он его не видел, с самой почти ночи. И только что вспомнил о нем, как тотчас же и приметил его в самом отдаленном углу скита, у ограды, сидящего на могильном камне одного древле почившего и знаменитого по подвигам своим инока. Он сидел спиной к скиту, лицом к ограде и как бы прятался за памятник. Подойдя вплоть, отец Паисий увидел, что он, закрыв обеими ладонями лицо, хотя и безгласно, но горько плачет, сотрясаясь всем телом своим от рыданий. Отец Паисий постоял над ним несколько.

– Полно, сыне милый, полно, друг, – прочувствованно произнес он наконец, – чего ты? Радуйся, а не плачь. Или не знаешь, что сей день есть величайший из дней *его*? Где он теперь, в минуту сию, вспомни-ка лишь о том!

Алеша взглянул было на него, открыв свое распухшее от слез, как у малого ребенка, лицо, но тотчас же, ни слова не вымолвив, отвернулся и снова закрылся обеими ладонями.

– А пожалуй, что и так, – произнес отец Паисий вдумчиво, – пожалуй, и плачь, Христос тебе эти слезы послал. «Умилительные слезки твои лишь отдых душевный и к веселию сердца твоего милого послужат», – прибавил он уже про себя, отходя от Алеши и любовно о нем думая. Отошел он, впрочем, поскорее, ибо почувствовал, что и сам, пожалуй, глядя на него, заплачет. Время между тем шло, монастырские службы и панихиды по усопшем продолжались в порядке. Отец Паисий снова заменил отца Иосифа у гроба и снова принял от него чтение Евангелия. Но еще не минуло и трех часов пополудни, как совершилось нечто, о чем упомянул я еще в конце прошлой книги, нечто, до того никем у нас неожиданное и до того в разрез всеобщему упованию, что, повторяю, подробная и суетная повесть о сем происшествии даже до сих пор с чрезвычайною живостью вспоминается в нашем городе и по всей нашей окрестности. Тут прибавлю еще раз от себя лично: мне почти противно вспоминать об этом суетном и соблазнительном событии, в сущности же самом пустом и естественном, и я, конечно, выпустил бы его в рассказе моем вовсе без упоминования, если бы не повлияло оно сильнейшим и известным образом на душу и сердце главного, *хотя и будущего* героя рассказа моего, Алеши, составив в душе его как бы перелом и переворот, потрясший, но и укрепивший его разум уже окончательно, на всю жизнь и к известной цели.

Итак, к рассказу. Когда еще до свету положили уготованное к погребению тело старца во гроб и вынесли его в первую, бывшую приемную комнату, то возник было между находившимися у гроба вопрос: надо ли отворить в комнате окна? Но вопрос сей, высказанный кем-то мимоходом и мельком, остался без ответа и почти незамеченным – разве лишь заметили его, да и то про себя, некоторые из присутствующих лишь в том смысле, что ожидание тления и тлетворного духа от тела такого почившего есть сущая нелепость, достойная даже сожаления (если не усмешки), относительно малой веры и легкомыслия изрекшего вопрос сей. Ибо ждали

совершенно противоположного. И вот, вскорости после полудня, началось нечто, сначала принимаемое входившими и выходившими лишь молча и про себя, и даже с видимою боязнью каждого сообщить кому-либо начинающуюся мысль свою, но к трем часам пополудня обнаружившееся уже столь ясно и неопровержимо, что известие о сем мигом облетело весь скит и всех богомольцев-посетителей скита, тотчас же проникло и в монастырь и повергло в удивление всех монастырских, а наконец, чрез самый малый срок, достигло и города и взволновало в нем всех, и верующих, и неверующих. Неверующие возрадовались, а что до верующих, то нашлись иные из них, возрадовавшиеся даже более самих неверующих, ибо «любят люди падение праведного и позор его», как изрек сам покойный старец в одном из поучений своих. Дело в том, что от гроба стал исходить мало-помалу, но чем далее, тем более замечаемый тлетворный дух, к трем же часам пополудни уже слишком явственно обнаружившийся и все постепенно усиливавшийся. И давно уже не бывало и даже припомнить невозможно было из всей прошлой жизни монастыря нашего такого соблазна, грубо разнузданного, а в другом каком случае так даже и невозможного, какой обнаружился тотчас же вслед за сим событием между самими даже иноками. Потом уже, и после многих даже лет, иные разумные иноки наши, припоминая весь тот день в подробности, удивлялись и ужасались тому, каким это образом соблазн мог достигнуть тогда такой степени.

Ибо и прежде сего случалось, что умирали иноки весьма праведной жизни, и праведность коих была у всех на виду, старцы богобоязненные, а между тем и от их смиренных гробов исходил дух тлетворный, естественно, как и у всех мертвецов появившийся, но сие не производило же соблазна и даже малейшего какого-либо волнения. Конечно, были некие и у нас из древле преставившихся, воспоминание о коих сохранилось еще живо в монастыре, и останки коих, по преданию, не обнаружили тления, что умилительно и таинственно повлияло на братию и сохранилось в памяти ее как нечто благолепное и чудесное и как обетование в будущем еще большей славы от их гробниц, если только волею Божией придет тому время.

Из таковых особенно сохранялась память о дожившем до ста пяти лет старце Иове, знаменитом подвижнике, великом постнике и молчальнике, преставившемся уже давно, еще в десятых годах нынешнего столетия, и могилу которого с особым и чрезвычайным уважением показывали всем впервые прибывающим богомольцам, таинственно упоминая при сем о неких великих надеждах. (Это та самая могила, на которой отец Паисий застал утром сидящим Алешу.) Кроме сего древлепочившего старца, жива была таковая же память и о преставившемся сравнительно уже недавно великом отце иеросхимонахе, старце Варсонофии – том самом, от которого отец Зосима и принял старчество и которого, при жизни его, все приходившие в монастырь богомольцы считали прямо за юродивого. О сих обоих сохранилось в предании, что лежали они в гробах своих, как живые, и погребены были совсем нетленными и что даже лики их как бы просветлели в гробу. А некие так даже вспоминали настоятельно, что от телес их осязалось явственно благоухание. Но несмотря даже и на столь внушительные воспоминания сии, все же трудно было бы объяснить ту прямую причину, по которой у гроба старца Зосимы могло произойти столь легкомысленное, нелепое и злобное явление. Что до меня лично, то полагаю, что тут одновременно сошлось и много другого, много разных причин, заодно повлиявших. Из таковых, например, была даже самая эта закоренелая вражда к старчеству, как к зловредному новшеству, глубоко таившаяся в монастыре в умах еще многих иноков. А потом, конечно, и главное, была зависть к святости усопшего, столь сильно установившейся при жизни его, что и возражать как будто было воспрещено. Ибо хотя покойный старец и привлек к себе многих, и не столь чудесами, сколько любовью, и воздвиг кругом себя как бы целый мир его любящих, тем не менее, и даже тем более, сим же самым породил к себе и завистников, а вслед затем и ожесточенных врагов, и явных, и тайных, и не только между монастырскими, но даже и между светскими. Никому, например, он не сделал вреда, но вот: «Зачем-де его считают столь святым?» И один лишь сей вопрос, повторяясь постепенно,

породил наконец целую бездну самой ненасытимой злобы. Вот почему и думаю я, что многие, заслышав тлетворный дух от тела его, да еще в такой скорости – ибо не прошло еще и дня со смерти его, были безмерно обрадованы; равно как из преданных старцу и доселе чтивших его нашлись тотчас же таковые, что были сим событием чуть не оскорблены и обижены лично. Постепенность же дела происходила следующим образом.

Лишь только начало обнаруживаться тление, то уже по одному виду входивших в келью усопшего иноков можно было заключить, зачем они приходят. Войдет, постоит недолго и выходит подтвердить скорее весть другим, толпою ожидающим извне. Иные из сих ожидавших скорбно покивали главами, но другие даже и скрывать уже не хотели своей радости, явно сиявшей в озлобленных взорах их. И никто-то их не укорял более, никто-то доброго гласа не подымал, что было даже и чудно, ибо преданных усопшему старцу было в монастыре все же большинство; но уж так, видно, сам Господь допустил, чтобы на сей раз меньшинство временно одержало верх. Вскоро стали являться в келью такими же соглядатаями и светские, более из образованных посетителей. Простого же народу входило мало, хотя и столпилось много его у ворот скитских. Несомненно то, что именно после трех часов прилив посетителей светских весьма усилился, и именно вследствие соблазнительного известия. Те, кои бы, может, и не прибыли в сей день вовсе, и не располагали прибыть, теперь нарочно приехали; между ними некоторые значительного чина особы. Впрочем, благочиние наружно еще не нарушалось, и отец Паисий твердо и отдельно, с лицом строгим, продолжал читать Евангелие в голос, как бы не замечая совершавшегося, хотя давно уже заметил нечто необычайное. Но вот и до него стали достигать голоса, сперва весьма тихие, но постепенно твердевшие и ободрявшиеся. «Знать суд-то Божий не то, что человеческий!» – слышал вдруг отец Паисий. Вымолвил сие первее всех один светский, городской чиновник, человек уже пожилой и, сколь известно было о нем, весьма набожный, но, вымолвив вслух, повторил лишь то, что давно промеж себя повторяли иноки друг другу на ухо. Те давно уже вымолвили сие безнадежное слово, и хуже всего было то, что с каждою почти минутой обнаруживалось и возрастало при этом слове некое торжество. Вскоре, однако, и самое даже благочиние начало нарушаться, и вот точно все почувствовали себя в каком-то даже праве его нарушать. «И почему бы сие могло случиться, – говорили некоторые из иноков, сначала как бы и сожалея, – тело имел не великое, сухое, к костям присохшее, откуда бы тут духу быть?» – «Значит, нарочно хотел Бог указать», – поспешно прибавляли другие, и мнение их принималось бесспорно и тотчас же, ибо опять-таки указывали, что если бы и быть духу естественно, как от всякого усопшего грешного, то все же изошел бы позднее, не с такою столь явною поспешностью, по крайности чрез сутки бы, а «этот естество предупредил», стало быть, тут никто как Бог и нарочитый перст Его. Указать хотел. Суждение сие поражало неотразимо. Кроткий отец иеромонах Иосиф, библиотекарь, любимец покойного, стал было возражать некоторым из злословников, что «не везде ведь это и так» и что не догмат же какой в православии сия необходимость нетления телес праведников, а лишь мнение, и что в самых даже православных странах, на Афоне например, духом тлетворным не столь смущаются, и не нетление телесное считается там главным признаком прославления спасенных, а цвет костей их, когда тела их полежат уже многие годы в земле и даже истлеют в ней, «и если обрящутся кости желты, как воск, то вот и главнейший знак, что прославил Господь усопшего праведного; если же не желты, а черны обрящутся, то значит, не удостоил такого Господь славы, – вот как на Афоне, месте великом, где издревле нерушимо и в светлейшей чистоте сохраняется православие», – заключил отец Иосиф.

Но речи смиренного отца пронеслись без внушения и даже вызвали отпор насмешливый: «это все ученость и новшества, нечего и слушать», – порешили про себя иноки. «У нас по-старому; мало ли новшеств теперь выходит, всем и подражать?» – «У нас не менее ихнего святых отцов было. Они там под туркой сидят и все позабыли. У них и православие давно замутилось, да и колоколов у них нет», – присоединяли самые насмешливые.

Отец Иосиф отошел с горестью, тем более что и сам-то высказал свое мнение не весьма твердо, а как бы и сам ему мало веруя. Но со смущением провидел, что начинается нечто очень неблагоприятное и что возвышает главу даже самое непослушание. Мало-помалу, вслед за отцом Иосифом, затихли и все голоса рассудительные. И как-то так сошлось, что все любившие покойного старца и с умиленным послушанием принимавшие установление старчества страшно чего-то вдруг испугались и, встречаясь друг с другом, робко лишь заглядывали один другому в лицо. Враги же старчества, яко новшества, гордо подняли голову. «От покойного старца Варсонофия не только духу не было, но точилось благоухание, – злорадно напоминали они, – но не старчеством заслужил, а тем, что и сам праведен был».

А вслед за сим на новопредставившегося старца посыпались уже осуждения и самые даже обвинения: «Несправедливо учил; учил, что жизнь есть великая радость, а не смирение слезное», – говорили одни, из наиболее бестолковых. «По-модному веровал, огня материального во аде не признавал», – присоединяли другие, еще тех бестолковее. «К посту был не строг, сладости себе разрешал, варенье вишневое ел с чаем, очень любил, барыни ему присылали. Схимнику ли чай распивать?» – слышалось от иных завистующих. «Возгордись сидел, – с жестокостью припоминали самые злорадные, – за святого себя почитал, на коленки пред ним повергались, яко должное ему принимал». «Таинством исповеди злоупотреблял», – злобным шепотом прибавляли самые ярые противники старчества, и это даже из самых старейших и суровых в богомолье своем иноков, истинных постников и молчальников, замолчавших при жизни усопшего, но вдруг теперь отверзших уста свои, что было уже ужасно, ибо сильно влияли словеса их на молодых и еще не установившихся иноков. Весьма выслушивал все сие и обдорский гость, монашек от святого Сильвестра, глубоко вздыхая и покивая главою: «Нет, видно отец-то Ферапонт справедливо вчера судил», – подумывал он про себя, а тут как раз и показался отец Ферапонт; как бы именно чтоб усугубить потрясение вышел.

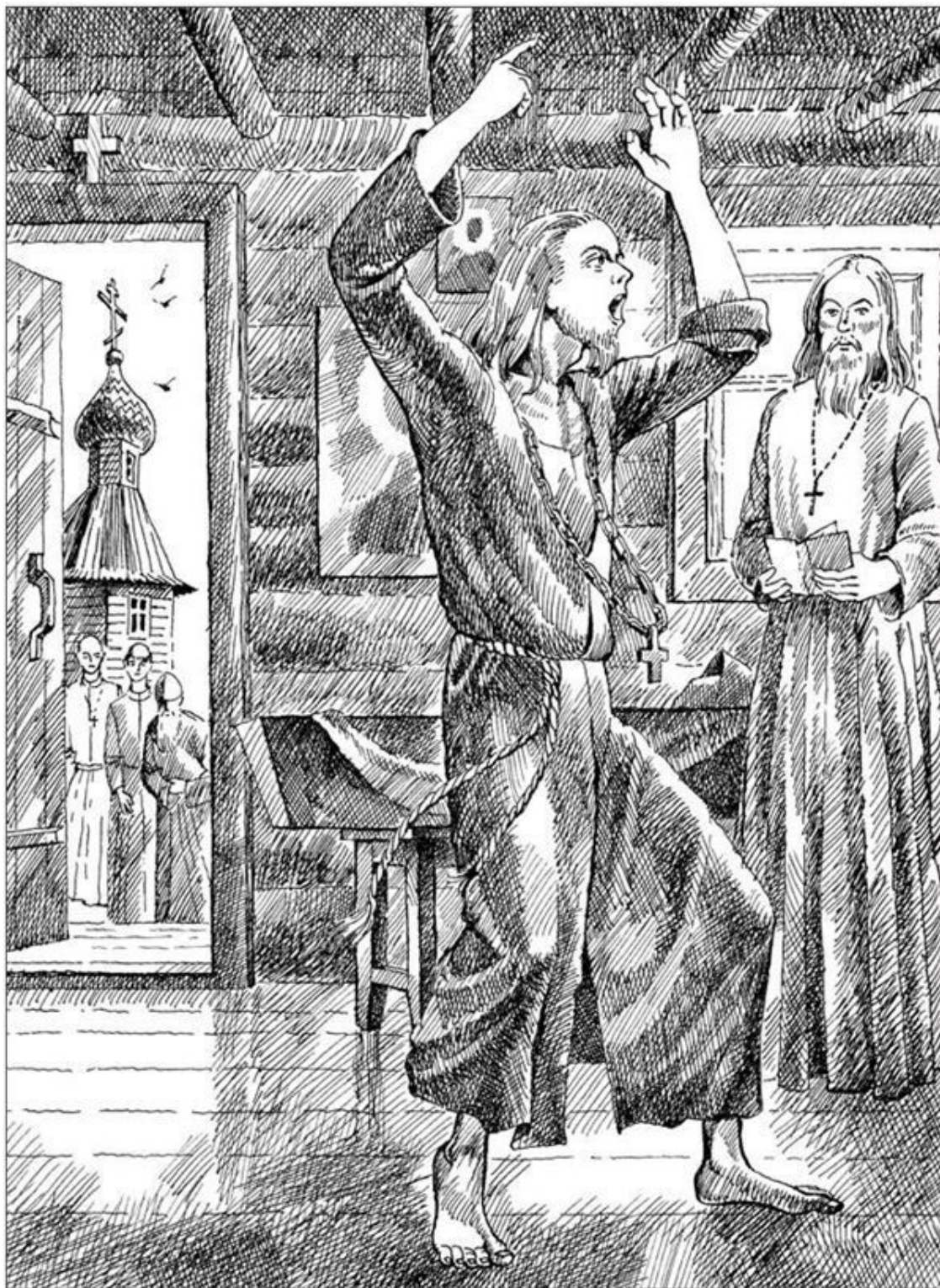
Упомянул уже я прежде, что выходил он из своей деревянной келийки на пасеке редко, даже в церковь подолгу не являлся, и что попускали ему это якобы юродивому, не связывая его правилом общим для всех. Но если сказать по всей правде, то попускалось ему все сие даже и по некоторой необходимости.

Ибо столь великого постника и молчальника, дни и ночи молящегося (даже и засыпал, на коленках стоя), как-то даже и зазорно было настоятельно обременять общим уставом, если он сам не хотел подчиниться. «Он и всех-то нас святее и исполняет труднейшее, чем по уставу, – сказали бы тогда иноки, – а что в церковь не ходит, то, значит, сам знает, когда ему ходить, у него свой устав». Ради сего-то вероятного ропота и соблазна и оставляли отца Ферапонта в покое. Старца Зосиму, как уже и всем известно было сие, не любил отец Ферапонт чрезвычайно; и вот и к нему в его келийку донеслась вдруг весть о том, что «суд-то Божий, значит, не тот, что у человек, и что естество даже предупредил». Надо полагать, что из первых сбегал ему передать известие обдорский гость, вчера посещавший его и во ужасе от него вчера отшедший. Упомянул я тоже, что отец Паисий, твердо и незыблемо стоявший и читавший над гробом, хотя и не мог слышать и видеть, что происходило вне кельи, но в сердце своем все главное безошибочно предугадал, ибо знал средо свою насквозь. Смущен же не был, а ожидал всего, что еще могло произойти, без страха, пронзающим взглядом следя за будущим исходом волнения, уже представлявшимся умственному взору его. Как вдруг необычайный и уже явно нарушавший благочиние шум в сенях поразил слух его. Дверь отворилась настезь, и на пороге показался отец Ферапонт. За ним, как примечалось, и даже ясно было видно из кельи, столпилось внизу у крылечка много монахов, сопровождавших его, а между ними и светских. Сопровождавшие, однако, не вошли и на крылечко не поднялись, но, остановясь, ждали, что скажет и сделает отец Ферапонт далее, ибо предчувствовали они, и даже с некоторым страхом, несмотря на все дерзновение свое, что пришел он недаром. Остановясь на пороге, отец Ферапонт воздел руки, и из-под правой руки его выглянули острые и любопытные глазки обдорского

гостя, единого не утерпевшего и взбежавшего во след отцу Ферапонту по лесенке из-за превеликого своего любопытства. Прочие же, кроме него, только что с шумом отворилась настежь дверь, напротив, потеснились еще более назад от внезапного страха. Подняв руки горе, отец Ферапонт вдруг завопил:

– Извергая извергну! – и тотчас же начал, обращаясь во все четыре стороны попеременно, крестить стены и все четыре угла кельи рукой. Это действие отца Ферапонта тотчас же поняли сопровождавшие его; ибо знали, что и всегда так делал, куда ни входил, и что и не сядет и слова не скажет, прежде чем не изгонит нечистую силу.

– Сатана изыди, сатана изыди! – повторял он с каждым крестом. – Извергая извергну! – возопил он опять. Был он в своей грубой рясе, подпоясанной вервием. Из-под посконной рубахи выглядывала обнаженная грудь его, обросшая седыми волосами. Ноги же совсем были босы. Как только стал он махать руками, стали сотрясаться и звенеть жестокие вериги, которые носил он под рясой. Отец Паисий прервал чтение, выступил вперед и стал пред ним в ожидании.



– Почто пришел, честный отче? Почто благочиние нарушаешь? Почто стадо смиренное возмущаешь? – проговорил он наконец, строго смотря на него.

– Чесо ради пришел еси? Чесо просиши? Како веруеши? – прокричал отец Феропонт, юродствуя, – притек здешних ваших гостей изгонять, чертей поганых. Смотрю, много ль их без меня накопили. Веником их березовым выметать хочу.

– Нечистого изгоняешь, а, может быть, сам ему же и служишь, – безбоязненно продолжал отец Паисий, – и кто про себя сказать может: «свят есть»? Не ты ли, отче?

– Поган есмь, а не свят. В кресла не сяду и не восхощу себе, аки идолу, поклонения! – загремел отец Ферапонт. – Ныне люди веру святую губят. Покойник, святой-то ваш, – обернулся он к толпе, указывая перстом на гроб, – чертей отвергал. Пурганцу от чертей давал. Вот они и развелись у вас, как пауки по углам. А днесь и сам провонял. В сем указание Господне великое видим.

А это и действительно однажды так случилось при жизни отца Зосимы. Единому от иноков стала сниться, а под конец и наяву представляться нечистая сила. Когда же он, в величайшем страхе, открыл сие старцу, тот посоветовал ему непрерывную молитву и усиленный пост. Но когда и это не помогло, посоветовал, не оставляя поста и молитвы, принять одного лекарства. О сем многие тогда соблазнились и говорили меж собой, покивая главами, – пуще же всех отец Ферапонт, которому тотчас же тогда поспешили передать некоторые хулители о сем «необычайном» в таком особливом случае распоряжении старца.

– Изыди, отче! – повелительно произнес отец Паисий, – не человеки судят, а Бог. Может, здесь «указание» видим такое, коего не в силах понять ни ты, ни я и никто. Изыди, отче, и стадо не возмущай! – повторил он настойчиво.

– Постов не содержал по чину схимы своей, потому и указание вышло. Сие ясно есть, а скрывать грех! – не унимался расходившийся во рвении своем не по разуму изувер. – Канфетою прельщался, барыни ему в карманах привозили, чаем сладобился, чреву жертвовал, сладостями его наполняя, а ум помышлением надменным... Посему и срам протерпел...

– Легкомысленны словеса твои, отче! – возвысил голос и отец Паисий, – посту и подвижничеству твоему удивляюсь, но легкомысленны словеса твои, якобы изрек юноша в миру, непостоянный и малодушный. Изыди же, отче, повелеваю тебе, – прогремел в заключение отец Паисий.

– Я-то изыду! – проговорил отец Ферапонт, как бы несколько смутившись, но не покидая озлобления своего, – ученые вы! От большого разума вознеслись над моим ничтожеством. Притек я сюда малограмотен, а здесь, что и знал, забыл, сам Господь Бог от премудрости вашей меня, маленького, защитил...

Отец Паисий стоял над ним и ждал с твердостью. Отец Ферапонт помолчал и вдруг, пригорюнившись и приложив правую ладонь к щеке, произнес нараспев, взирая на гроб усопшего старца:

– Над ним завтра «Помощника и Покровителя» станут петь – канон преславный, а надо мною, когда подохну, всего-то лишь «Кая житейская сладость» – стихирчик малый<sup>1</sup>, – проговорил он слезно и сожалительно. – Возгордились и вознеслись, пусто место сие! – завопил он вдруг как безумный и, махнув рукой, быстро повернулся и быстро сошел по ступенькам с крылечка вниз. Ожидавшая внизу толпа заколебалась; иные пошли за ним тотчас же, но иные замедлили, ибо келья все еще была отперта, а отец Паисий, выйдя вслед за отцом Ферапонтом на крылечко, стоя наблюдал. Но расходившийся старик еще не окончил всего: отойдя шагов на двадцать, он вдруг обратился в сторону заходящего солнца, воздел над собою обе руки и – как бы кто подкосил его – рухнулся на землю с превеликим криком:

– Мой Господь победил! Христос победил заходящу солнцу! – неистово прокричал он, воздевая к солнцу руки, и, пав лицом ниц на землю, зарыдал в голос, как малое дитя, весь сотрясаясь от слез своих и распростирая по земле руки. Тут уж все бросились к нему, раздались восклицания, ответное рыдание... Исступление какое-то всех обуяло.

– Вот кто свят! Вот кто праведен! – раздавались возгласы уже не боязненно, – вот кому в старцах сидеть, – прибавляли другие уже озлобленно.

---

<sup>1</sup> При выносе тела (из келии в церковь и после отпевания из церкви на кладбище) монаха и схимонаха поются стихиры: «Кая житейская сладость...» Если же почивший был иеросхимонахом, то поют канон: «Помощник и Покровитель...»

– Не сядет он в старцах... Сам отвергнет... не послужит проклятому новшеству... не станет ихним дурачествам подражать, – тотчас подхватили другие голоса, и до чего бы это дошло, трудно и представить себе, но как раз ударил в ту минуту колокол, призывая к службе. Все вдруг стали креститься. Поднялся и отец Феррапонт и, ограждая себя крестным знаменем, пошел к своей келье, не оглядываясь, все еще продолжая восклицать, но уже нечто совсем несвязное. За ним потекли было некоторые, в малом числе, но большинство стало расходиться, поспешая к службе. Отец Паисий передал чтение отцу Иосифу и сошел вниз. Исступленными кликами изуверов он поколебаться не мог, но сердце его вдруг загрустило и затосковало о чем-то особливо, и он почувствовал это. Он остановился и вдруг спросил себя: «Отчего сия грусть моя даже до упадка духа?» – и с удивлением постиг тотчас же, что сия внезапная грусть его происходит, по-видимому, от самой малой и особливой причины: дело в том, что в толпе, теснившейся сейчас у входа в келью, заметил он между прочими волнующимися и Алешу, и вспомнил он, что, увидав его, тотчас же почувствовал тогда в сердце своем как бы некую боль. «Да неужто же сей младый столь много значит ныне в сердце моем?» – вдруг с удивлением спросил он себя. В эту минуту Алеша как раз проходил мимо него, как бы поспешая куда-то, но не в сторону храма. Взоры их встретились. Алеша быстро отвел свои глаза и опустил их в землю, и уже по одному виду юноши отец Паисий догадался, какая в минуту сию происходит в нем сильная перемена.

– Или и ты соблазнился? – воскликнул вдруг отец Паисий, – да неужто же и ты с маловерными! – прибавил он горестно.

Алеша остановился и как-то неопределенно взглянул на отца Паисия, но снова быстро отвел глаза и снова опустил их к земле. Стоял же боком и не повернулся лицом к вопрошавшему. Отец Паисий наблюдал внимательно.

– Куда же поспешаешь? К службе благовестят, – спросил он вновь, но Алеша опять ответа не дал.

– Али из скита уходишь? Как же не спросясь-то, не благословясь?

Алеша вдруг криво усмехнулся, странно, очень странно вскинул на вопрошавшего отца свои очи, на того, кому вверил его, умирая, бывший руководитель его, бывший владыка сердца и ума его, возлюбленный старец его, и вдруг, все по-прежнему без ответа, махнул рукой, как бы не заботясь даже и о почтительности, и быстрыми шагами пошел к выходным воротам вон из скита.

– Возвратишься еще! – прошептал отец Паисий, смотря во след ему с горестным удивлением.

## II

### Такая минутка

Отец Паисий, конечно, не ошибся, решив, что его «милый мальчик» снова воротится, и даже, может быть (хотя и не вполне, но все же прозорливо), проник в истинный смысл душевного настроения Алешы. Тем не менее признаюсь откровенно, что самому мне очень было бы трудно теперь передать ясно точный смысл этой странной и неопределенной минуты в жизни столь излюбленного мною и столь еще юного героя моего рассказа. На горестный вопрос отца Паисия, устремленный к Алеше: «Или и ты с маловерными?» – я, конечно, мог бы с твердостью ответить за Алешу: «Нет, он не с маловерными». Мало того, тут было даже совсем противоположное: все смущение его произошло именно от того, что он много веровал. Но смущение все же было, все же произошло и было столь мучительно, что даже и потом, уже долго спустя, Алеша считал этот горестный день одним из самых тягостных и роковых дней своей жизни. Если же спросят прямо: «Неужели же вся эта тоска и такая тревога могли в нем произойти лишь потому, что тело его старца, вместо того чтобы немедленно начать производить

исцеления, подверглось, напротив того, раннему тлению», то отвечу на это не обинуясь: «Да, действительно было так». Попросил бы только читателя не спешить еще слишком смеяться над чистым сердцем моего юноши. Сам же я не только не намерен просить за него прощения или извинять и оправдывать простодушную его веру его юным возрастом, например, или малыми успехами в пройденных им прежде науках и пр., и пр., но сделаю даже напротив и твердо заявлю, что чувствую искреннее уважение к природе сердца его. Без сомнения, иной юноша, принимающий впечатления сердечные осторожно, уже умеющий любить не горячо, а лишь тепло, с умом хотя и верным, но слишком уж, судя по возрасту, рассудительным (а потому дешевым), такой юноша, говорю я, избег бы того, что случилось с моим юношей, но в иных случаях, право, почтеннее поддаться иному увлечению, хотя бы и неразумному, но все же от великой любви происшедшему, чем вовсе не поддаться ему. А в юности тем паче, ибо неблагонадежен слишком уж постоянно рассудительный юноша и дешева цена ему – вот мое мнение! «Но, – воскликнут тут, пожалуй, разумные люди, – нельзя же всякому юноше веровать в такой предрассудок, и ваш юноша не указ остальным». На это я отвечу опять-таки: да, мой юноша веровал, веровал свято и нерушимо, но я все-таки не прошу за него прощения.

Видите ли: хоть я и заявил выше (и, может быть, слишком поспешно), что объясняться, извиняться и оправдывать героя моего не стану, но вижу, что нечто все же необходимо уяснить для дальнейшего понимания рассказа. Вот что скажу: тут не то чтобы чудеса. Не легкомысленное в своем нетерпении было тут ожидание чудес. И не для торжества убеждений каких-либо понадобились тогда чудеса Алеше (это-то уже вовсе нет), не для идеи какой-либо прежней, предвзятой, которая бы восторжествовала поскорей над другою, – о нет, совсем нет: тут во всем этом и прежде всего, на первом месте, стояло пред ним лицо, и только лицо, – лицо возлюбленного старца его, лицо того праведника, которого он до такого обожания чтит. То-то и есть, что вся любовь, таившаяся в молодом и чистом сердце его ко «всем и вся», в то время во весь предшествовавший тому год, как бы вся временами сосредоточивалась, и, может быть, даже неправильно, лишь на одном существе преимущественно, по крайней мере, в сильнейших порывах сердца его, – на возлюбленном старце его, теперь почившем. Правда, это существо столь долго стояло пред ним как идеал бесспорный, что все юные силы его и все стремление их и не могли уже не направиться к этому идеалу исключительно, а минутами так даже и до забвения «всех и вся». (Он вспоминал потом сам, что в тяжелый день этот забыл совсем о брате Дмитриии, о котором так заботился и тосковал накануне; забыл тоже снести отцу Илюшечки двести рублей, что с таким жаром намеревался исполнить тоже накануне.)

Но не чудес опять-таки ему нужно было, а лишь «высшей справедливости», которая была, по верованию его, нарушена и чем так жестоко и внезапно было поранено сердце его. И что в том, что «справедливость» эта, в ожиданиях Алеша, самим ходом дела, приняла форму чудес, немедленно ожидаемых от праха обожаемого им бывшего руководителя его? Но ведь так мыслили и ожидали и все в монастыре, те даже, пред умом которых преклонялся Алеша. Сам отец Паисий, например, и вот Алеша, не тревожа себя никакими сомнениями, облек и свои мечты в ту же форму, в какую и все облекли. Да и давно уже это так устроилось в сердце его, целым годом монастырской жизни его, и сердце его взяло уже привычку так ожидать. Но справедливости жаждал, справедливости, а не токмо лишь чудес! И вот тот, который должен бы был, по упованиям его, быть вознесен превыше всех в целом мире, – тот самый, вместо славы, ему подобавшей, вдруг низвержен и опозорен! За что? Кто судил? Кто мог так рассудить? – вот вопросы, которые тотчас же измучили неопытное и девственное сердце его. Не мог он вынести без оскорбления, без озлобления даже сердечного, что праведнейший из праведных предан на такое насмешливое и злобное глумление столь легкомысленной и столь ниже его стоявшей толпе. Ну, и пусть бы не было чудес вовсе, пусть бы ничего не объявилось чудного и не оправдалось немедленно ожидаемое, но зачем же объявилось бесславие, зачем попустился позор, зачем это поспешное тление, «предупредившее естество», как говорили злобные

монахи? Зачем это «указание», которое они с таким торжеством выводят теперь вместе с отцом Ферапонтом, и зачем они верят, что получили даже право так выводить? Где же Провидение и перст Его? К чему сокрыло Оно Свой перст «в самую нужную минуту» (думал Алеша) и как бы само захотело подчинить себя слепым, немым, безжалостным законам естественным?

Вот отчего точилось кровью сердце Алеши, и уж конечно, как я сказал уже, прежде всего тут стояло лицо, возлюбленное им более всего в мире и оно же «опозоренное», оно же и «обесславленное»! Пусть этот ропот юноши моего был легкомыслен и безрассуден, но опять-таки, в третий раз повторяю (и согласен вперед, что, может быть, тоже с легкомыслием): я рад, что мой юноша оказался не столь рассудительным в такую минуту, ибо рассудку всегда придет время у человека неглупого, а если уж и в такую исключительную минуту не окажется любви в сердце юноши, то когда же придет она? Не захочу, однако же, умолчать при сем случае и о некотором странном явлении, хотя и мгновенно, но все же обнаружившемся в эту роковую и сбивчивую для Алеши минуту в уме его. Это новое объявившееся и мелькнувшее *нечто* состояло в некотором мучительном впечатлении от неустанно припоминавшегося теперь Алешей вчерашнего его разговора с братом Иваном. Именно теперь. О, не то чтобы что-нибудь было поколеблено в душе его из основных, стихийных, так сказать, ее верований. Бога своего он любил и веровал в Него незыблемо, хотя и возроптал было на Него внезапно. Но все же какое-то смутное, но мучительное и злое впечатление от припоминания вчерашнего разговора с братом Иваном вдруг теперь снова зашевелилось в душе его и все более и более просилось выйти наверх ее. Когда уже стало сильно смеркаться, проходивший сосною рощей из скита к монастырю Ракитин вдруг заметил Алешу, лежавшего под деревом лицом к земле, недвижимого и как бы спящего. Он подошел и окликнул его:

– Ты здесь, Алексей? Да неужто же ты... – произнес было он удивленный, но, не докончив, остановился. Он хотел сказать: «Неужто ж ты *до того дошел?*» Алеша не взглянул на него, но по некоторому движению его Ракитин сейчас догадался, что он его слышит и понимает.

– Да что с тобой? – продолжал он удивляться, но удивление уже начало сменяться в лице его улыбкой, принимавшею все более и более насмешливое выражение.

– Послушай, да ведь я тебя ищу уже больше двух часов. Ты вдруг пропал отсюда. Да что ты тут делаешь? Какие это с тобой благоглупости? Да взгляни хоть на меня-то...

Алеша поднял голову, сел и прислонился спиной к дереву. Он не плакал, но лицо его выражало страдание, а во взоре виднелось раздражение. Смотрел он, впрочем, не на Ракитина, а куда-то в сторону.

– Знаешь, ты совсем переменялся в лице. Никакой этой кротости прежней пресловутой твоей нет. Осердился на кого, что ли? Обидели?

– Отстань! – проговорил вдруг Алеша, все по-прежнему не глядя на него и устало махнув рукой.

– Ого, вот мы как! Совсем как и прочие смертные стали покрикивать. Это из ангелов-то! Ну, Алешка, удивил ты меня, знаешь ты это, искренно говорю. Давно я ничему здесь не удивлялся. Ведь я все же тебя за образованного человека почитал...

Алеша наконец поглядел на него, но как-то рассеянно, точно все еще мало понимая.

– Да неужель ты только оттого, что твой старик провонял? Да неужели же ты верил серьезно, что он чудеса отмачивать начнет? – воскликнул Ракитин, опять переходя в самое искреннее изумление.

– Верил, верую и хочу веровать, и буду веровать, ну чего тебе еще! – раздражительно прокричал Алеша.

– Да ничего ровно, голубчик. Фу, черт, да этому тринадцатилетний школьник теперь не верит. А впрочем, черт... Так ты вот и рассердился теперь на Бога-то своего, взбунтовался: чином, дескать, обошли, к празднику ордена не дали! Эх, вы!

Алеша длинно и как-то прищурился глазами посмотрел на Ракитина, и в глазах его что-то вдруг сверкнуло... но не озлобление на Ракитина.

– Я против Бога моего не бунтуюсь, я только «мира Его не принимаю», – криво усмехнулся вдруг Алеша.

– Как это мира не принимаешь? – капельку подумал над его ответом Ракитин. – Что за белиберда?

Алеша не ответил.

– Ну, довольно о пустяках-то, теперь к делу: ел ты сегодня?

– Не помню... ел, кажется.

– Тебе надо подкрепиться, судя по лицу-то. Сострадание ведь, на тебя глядя, берет. Ведь ты и ночь не спал, я слышал, заседание у вас там было. А потом вся эта возня и мазня... Всего-то антидорцу кусочек, надо быть, пожевал. Есть у меня с собой в кармане колбаса, давеча из города захватил на всякий случай, сюда направляясь, только ведь ты колбасы не станешь...

– Давай колбасы.

– Эге! Так ты вот как! Значит, совсем уж бунт, баррикады! Ну, брат, этим делом пренебрегать нечего. Зайдем ко мне... Я бы водочки сам теперь тяпнул, смерть устал. Водки-то, небось, не решишься... аль выпьешь?

– Давай и водки.

– Эвона! Чудно, брат! – дико посмотрел Ракитин. – Ну да так или этак, водка или колбаса, а дело это лихое, хорошее и упускать невозможно, идем!

Алеша молча поднялся с земли и пошел за Ракитиным.

– Видел бы это брат Ванюшка, так как бы изумился! Кстати, братец твой Иван Федорович сегодня утром в Москву укатил, знаешь ты это?

– Знаю, – безучастно произнес Алеша, и вдруг мелькнул у него в уме образ брата Дмитрия, но только мелькнул, и хоть напомнил что-то, какое-то дело спешное, которого уже нельзя более ни на минуту откладывать, какой-то долг, обязанность страшную, но и это воспоминание не произвело на него никакого впечатления, не достигло сердца его, в тот же миг вылетело из памяти и забылось. Но долго потом вспоминал об этом Алеша.

– Братец твой Ванюшка изрек про меня единожды, что я «бездарный либеральный мешок». Ты же один разик тоже не утерпел и дал мне понять, что я «бесчестен»... Пусть! Посмотрю-ка я теперь на вашу даровитость и честность (окончил это Ракитин уже про себя, шепотом). Тьфу, слушай! – заговорил он снова громко, – минуем-ка монастырь, пойдем по тропинке прямо в город... Гм! Мне бы, кстати, надо к Хохлаковой зайти. Вообрази: я ей отписал о всем приключившемся, и, представь, она мне мигом отвечает запиской, карандашом (ужасно любит записки писать эта дама), что «никак она не ожидала от такого почтенного старца, как отец Зосима, – *такого поступка!*» Так ведь и написала: «*поступка!*» Тоже ведь озлилась; эх, вы все! Постой! – внезапно прокричал он опять, вдруг остановился и, придержав Алешу за плечо, остановил и его:

– Знаешь, Алешка, – пытливым взглядом он ему в глаза, весь под впечатлением внезапной новой мысли, вдруг его осиявшей, и хоть сам и смеялся наружно, но, видимо, боясь выговорить вслух эту новую внезапную мысль свою, до того он все еще не мог поверить чудному для него и никак неожиданному настроению, в котором видел теперь Алешу, – Алешка, знаешь, куда мы всего лучше бы теперь пошли? – выговорил он наконец робко и искательно.

– Все равно... куда хочешь.

– Пойдем-ка к Грушеньке, а? Пойдешь? – весь даже дрожа от робкого ожидания, изрек наконец Ракитин.

– Пойдем к Грушеньке, – спокойно и тотчас же ответил Алеша, и уж это было до того неожиданно для Ракитина, то есть такое скорое и спокойное согласие, что он чуть было не отпрыгнул назад.

– Н-ну!.. вот! – прокричал было он в изумлении, но вдруг, крепко подхватив Алешу под руку, быстро повлек его по тропинке, все еще ужасно опасаясь, что в том исчезнет решимость. Шли молча, Ракитин даже заговорить боялся.

– А рада-то как она будет, рада-то... – пробормотал было он, но опять примолк. Да и вовсе не для радости Грушенькиной он влек к ней Алешу; был он человек серьезный и без выгодной для себя цели ничего не предпринимал. Цель же у него теперь была двоякая, во-первых, мстительная, то есть увидеть «позор праведного» и вероятное «падение» Алеши «из святых во грешники», чем он уже заранее упивался, а во-вторых, была у него тут в виду и некоторая материальная, весьма для него выгодная цель, о которой будет сказано ниже.

«Значит, такая минутка вышла, – думал он про себя весело и злобно, – вот мы, стало быть, и изловим ее за шиворот, минутку-то эту, ибо она нам весьма подходящая».

### III Луковка

Грушенька жила в самом бойком месте города, близ Соборной площади, в доме купеческой вдовы Морозовой, у которой нанимала на дворе небольшой деревянный флигель. Дом же Морозовой был большой, каменный, двухэтажный, старый и очень неприглядный на вид; в нем проживала уединенно сама хозяйка, старая женщина с двумя своими племянницами, тоже весьма пожилыми девицами. Отдавать в наем свой флигель на дворе она не нуждалась, но все знали, что пустила к себе жилицей Грушеньку (еще года четыре назад) единственно в угоду родственнику своему купцу Самсонову, Грушенькиному открытому покровителю.

Говорили, что ревнивый старик, помещая к Морозовой свою «фаворитку», имел первоначально в виду зоркий глаз старухи, чтобы наблюдать за поведением новой жилицы. Но зоркий глаз весьма скоро оказался ненужным, и кончилось тем, что Морозова даже редко встречалась с Грушенькой и совсем уже не надоедала ей под конец никаким надзором. Правда, прошло уже четыре года с тех пор, как старик привез в этот дом из губернского города восемнадцатилетнюю девочку, робкую, застенчивую и грустную, и с тех пор много утекло воды. Биографию этой девочки знали, впрочем, у нас в городе мало и сбивчиво; не узнали больше и в последнее время, и это даже тогда, когда уже очень многие стали интересоваться такою «раскрасавицей», в какую превратилась в четыре года Аграфена Александровна. Были только слухи, что семнадцатилетнею еще девочкой была она кем-то обманута, каким-то будто бы офицером, и затем тотчас же им брошена. Офицер-де уехал и где-то потом женился, а Грушенька осталась в позоре и нищете. Говорили, впрочем, что хотя Грушенька и действительно была взята своим стариком из нищеты, но что семейства была честного и происходила как-то из духовного звания, была дочь какого-то заштатного диакона или что-то в этом роде. И вот в четыре года из чувствительной, обиженной и жалкой сироточки вышла румяная, полнотелая русская красавица, женщина с характером смелым и решительным, гордая и наглая, понимавшая толк в деньгах, приобретательница, скупая и осторожная, правдами иль неправдами, но уже успевшая, как говорили про нее, сколотить свой собственный капиталец. В одном только все были убеждены: что к Грушеньке доступ труден и что, кроме старика, ее покровителя, не было ни единого еще человека, во все четыре года, который бы мог похвалиться ее благосклонностью. Факт был твердый, потому что на приобретение этой благосклонности выскакивало немало охотников, особенно в последние два года. Но все попытки оказались втуне, а иные из искателей принуждены были отретироваться даже с комической и зазорной развязкой, благодаря твердому и насмешливому отпору со стороны характерной молодой особы. Знали еще, что молодая особа, особенно в последний год, пустилась в то, что называется «гешефтом», и что с этой стороны она оказалась с чрезвычайными способностями, так что под конец многие прозвали ее сущюю жидовкой. Не то чтоб она давала деньги в рост, но известно было, например, что в компании с

Федором Павловичем Карамазовым она некоторое время действительно занималась скупкою векселей за бесценок, по гривеннику за рубль, а потом приобрела на иных из этих векселей по рублю на гривенник. Большой Самсонов, в последний год лишившийся употребления своих распухших ног, вдовец, тиран своих взрослых сыновей, большой стотысячник, человек скарденый и неумолимый, подпал, однако же, под сильное влияние своей протезе, которую сначала было держал в ежовых рукавицах и в черном теле, «на постном масле», как говорили тогда зубоскалы. Но Грушенька успела эмансипироваться, внушив, однако же, ему безграничное доверие касательно своей ему верности. Этот старик, большой делец (теперь давно покойник), был тоже характера замечательного, главное, скуп и тверд, как кремь, и хоть Грушенька поразила его так, что он и жить без нее не мог (в последние два года, например, это так и было), но капиталу большого, значительного, он все-таки ей не отделил, и даже если б она пригрозила ему совсем его бросить, то и тогда бы остался неумолим. Но отделил зато капитал малый, и когда узналось это, то и это стало всем на удивление. «Ты сама баба не промах, – сказал он ей, отделяя ей тысяч с восемь, – сама и орудуй, но знай, что, кроме ежегодного содержания по-прежнему, до самой смерти моей больше ничего от меня не получишь, да и в завещании ничего больше тебе не отделию». Так и сдержал слово: умер и все оставил сыновьям, которых всю жизнь держал при себе наравне, как слуг, с их женами и детьми, а о Грушеньке даже и не упомянул в завещании вовсе. Все это стало известно впоследствии. Советами же как орудовать «своим собственным капиталом» он Грушеньке помогал немало и указывал ей «дела». Когда Федор Павлович Карамазов, связавшийся первоначально с Грушенькой по поводу одного случайного «гешефта», кончил совсем для себя неожиданно тем, что влюбился в нее без памяти и как бы даже ум потерял, то старик Самсонов, уже дышавший в то время на ладон, сильно подсмеивался. Замечательно, что Грушенька была со своим стариком за все время их знакомства вполне и даже как бы сердечно откровенна, и это, кажется, с единственным человеком в мире. В самое последнее время, когда появился вдруг с своею любовью и Дмитрий Федорович, старик перестал смеяться. Напротив, однажды серьезно и строго посоветовал Грушеньке: «Если уж выбирать из обоих, отца аль сына, то выбирай старика, но с тем, однако же, чтобы старый подлец непременно на тебе женился, а предварительно хоть некоторый капитал отписал.

А с капитаном не якшайся, пути не будет». Вот были собственные слова Грушеньке старого сластолюбца, предчувствовавшего тогда уже близкую смерть свою, и впрямь чрез пять месяцев после совета сего умершего. Замечу еще мельком, что хотя у нас в городе даже многие знали тогда про нелепое и уродливое соперничество Карамазовых, отца с сыном, предметом которого была Грушенька, но настоящего смысла ее отношений к обоим из них, к старику и к сыну, мало кто тогда понимал. Даже обе служанки Грушеньки (после уже разразившейся катастрофы, о которой еще речь впереди) показали потом на суде, что Дмитрия Федоровича принимала Аграфена Александровна из одного лишь страха, потому будто бы, что «убить грозился». Служанок у нее было две, одна очень старая кухарка, еще из родительского семейства ее, больная и почти оглохшая, и внучка ее, молоденькая, бойкая девушка лет двадцати, Грушенькина горничная. Жила же Грушенька очень скупо и в обстановке совсем небогатой. Было у ней во флигеле всего три комнаты, меблированные от хозяйки древнею, красного дерева мебелью, фасона двадцатых годов. Когда вошли к ней Ракитин и Алеша, были уже полные сумерки, но комнаты еще не были освещены. Сама Грушенька лежала у себя в гостиной, на своем большом, неуклюжем диване со спинкой под красное дерево, жестком и обитом кожей, давно уже истершеюся и продырявившеюся. Под головой у ней были две белые пуховые подушки с ее постели. Она лежала навзничь, неподвижно протянувшись, заложив обе руки за голову. Была она приодета, будто ждала кого, в шелковом черном платье и в легкой кружевной на голове наколке, которая очень к ней шла; на плечи была наброшена кружевная косынка, приколотая массивною золотою брошкой. Именно она кого-то ждала, лежала как бы в тоске и в нетерпении, с несколько побледневшим лицом, с горячими губами и глазами, кончиком правой ноги

нетерпеливо постукивая по ручке дивана. Чуть только появились Ракитин и Алеша, как произошел было маленький переполох: слышно было из передней, как Грушенька быстро вскочила с дивана и вдруг испуганно прокричала: «Кто там?» Но гостей встретила девушка и тотчас же откликнулась барыне.

– Да не оне-с, это другие, эти ничего.

«Что бы у ней такое?» – пробормотал Ракитин, вводя Алешу за руку в гостиную. Грушенька стояла у дивана, как бы все еще в испуге. Густая прядь темно-русой косы ее выбилась вдруг из-под заколки и упала на ее правое плечо, но она не заметила и не поправила, пока не взгляделась в гостей и не узнала их.

– Ах, это ты, Ракитка? Испугал было меня всю. С кем ты это? Кто это с тобой? Господи, вот кого привел! – воскликнула она, разглядев Алешу.

– Да вели подать свечей-то! – проговорил Ракитин с развязным видом самого короткого знакомого и близкого человека, имеющего даже право распоряжаться в доме.

– Свечей... конечно, свечей... Феня, принеси ему свечку...

Ну, нашел время его привести! – воскликнула она опять, кивнув на Алешу, и, оборотясь к зеркалу, быстро начала обеими руками вправлять свою косу. Она как будто была недовольна.

– Аль не потрафил? – спросил Ракитин, мигом почти обидевшись.

– Испугал ты меня, Ракитка, вот что, – обернулась Грушенька с улыбкой к Алеше. – Не бойся ты меня, голубчик Алеша, страх как я тебе рада, гость ты мой неожиданный. А ты меня, Ракитка, испугал: я ведь думала, Митя ломится. Видишь, я его давеча надула и с него честное слово взяла, чтобы мне верил, а я нагала. Сказала ему, что к Кузьме Кузьмичу, к старику моему, на весь вечер уйду и буду с ним до ночи деньги считать. Я ведь каждую неделю к нему ухожу на весь вечер счета сводить. На замок запремся: он на счетах постукивает, а я сижу – в книги вписываю – одной мне доверяет. Митя-то и поверил, что я там, а я вот дома заперлась – сижу, одной вести жду. Как это вас Феня впустила! Феня, Феня! Беги к воротам, отвори и огляди кругом, нет ли где капитана-то? Может, спрятался и высматривает, смерть боюсь!

– Никого нет, Аграфена Александровна, сейчас кругом оглянула, я и в щелку подхожу и гляжу поминутно, сама в страхе-трепете.

– Ставни заперты ли, Феня, да занавес бы опустила – вот так! – Она сама опустила тяжелые занавесы, – а то на огонь-то он как раз налетит. Мити, брата твоего, Алеша, сегодня боюсь. – Грушенька говорила громко, хотя и в тревоге, но и как будто в каком-то восторге.

– Почему так сегодня Митеньки боишься? – осведомился Ракитин, – кажется, с ним не пуглива, по твоей дудке пляшет.

– Говорю тебе, вести жду, золотой одной такой весточки, так что Митеньки-то и не надо бы теперь вовсе. Да и не поверил он мне, это чувствую, что я к Кузьме Кузьмичу пошла. Должно быть, сидит теперь там у себя, у Федора Павловича на задах в саду, меня сторожит. А коли там засел, значит сюда не придет, тем и лучше! А ведь к Кузьме Кузьмичу я и впрямь сбегала, Митя же меня и проводил, сказала до полночи просижу и чтоб он же меня непременно пришел в полночь домой проводить. Он ушел, а я минут десять у старика посидела, да и опять сюда, ух, боялась – бежала, чтоб его не повстречать.

– А разрядилась-то куда? Ишь ведь какой чепец на тебе любопытный.

– И уж какой же ты сам любопытный, Ракитин! Говорю тебе, такой одной весточки жду. Придет весточка, вскочу – полечу, только вы меня здесь и видели. Для того и разрядилась, чтоб готовой сидеть.

– А куда полетишь?

– Много будешь знать – скоро состаришься.

– Ишь ведь. Вся в радости... Никогда еще я тебя не видел такую. Разоделась как на бал, – оглядывал ее Ракитин.

– Много ты в балах понимаешь.

– А ты много?

– Я-то видала бал. Третьего года Кузьма Кузьмич сына женил, так я с хор смотрела. Что ж мне, Ракитка, с тобой что ли разговаривать, когда тут такой князь стоит. Вот так гость! Алеша, голубчик, гляжу я на тебя и не верю; Господи, как это ты у меня появился! По правде тебе сказать, не ждала, не гадала, да и прежде никогда тому не верила, чтобы ты мог прийти. Хоть и не та минутка теперь, а страх я тебе рада! Садись на диван, вот сюда, вот так, месяц ты мой молодой. Право, я еще как будто и не соображусь... Эх ты, Ракитка, если бы ты его вчера, али третьего дня привел!.. Ну, да рада и так. Может, и лучше, что теперь, под такую минуту, а не третьего дня...

Она резво под села к Алеше на диван, с ним рядом, и глядела на него решительно с восхищением. И действительно была рада, не лгала, говоря это. Глаза ее горели, губы смеялись, но добродушно, весело смеялись. Алеша даже и не ожидал от нее такого доброго выражения в лице... Он встречал ее до вчерашнего дня мало, составил об ней устрашающее понятие, а вчера так страшно был потрясен ее злобной и коварной выходкой против Катерины Ивановны и был очень удивлен, что теперь вдруг увидал в ней совсем как бы иное и неожиданное существо. И как ни был он придавлен своим собственным горем, но глаза его невольно остановились на ней со вниманием. Все манеры ее как бы изменились тоже со вчерашнего дня совсем к лучшему: не было этой вчерашней слащавости в выговоре почти вовсе, этих изнеженных движений... все было просто, простодушно, движения ее были скорые, прямые, доверчивые, но была она очень возбуждена.

– Господи, экие все вещи сегодня сбываются, право, – залепетала она опять. – И чего я тебе так рада, Алеша, сама не знаю. Вот спроси, а я не знаю.

– Ну уж и не знаешь, чему рада? – усмехнулся Ракитин. – Прежде-то зачем-нибудь приставала же ко мне: приведи да приведи его, имела же цель.

– Прежде-то я другую цель имела, а теперь то прошло, не такая минута. Потчевать я вас стану, вот что.

Я теперь подобрела, Ракитка. Да садись и ты, Ракитка, чего стоишь? Аль ты уж сел? Небось, Ракитушка себя не забудет. Вот он теперь, Алеша, сидит там против нас, да и обижается: зачем это я его прежде тебя не пригласила садиться. Ух обидчив у меня Ракитка, обидчив! – засмеялась Грушенька. – Не злись, Ракитка, ныне я добрая. Да чего ты грустен сидишь, Алешечка, аль меня боишься? – с веселою насмешкой заглянула она ему в глаза.

– У него горе. Чину не дали, – пробасил Ракитин.

– Какого чину?

– Старец его пропах.

– Как пропах? Вздор ты какой-нибудь мелешь, скверность какую-нибудь хочешь сказать. Молчи, дурак. Пустишь меня, Алеша, на колени к себе посидеть, вот так! – И вдруг она мигом привскочила и прыгнула, смеясь, ему на колени, как ласкающаяся кошечка, нежно правою рукой охватив ему шею: – Развеселю я тебя, мальчик ты мой богомольный! Нет, в самом деле, неужто позволишь мне на коленях у тебя посидеть, не осердишься? Прикажешь – я соскочу.

Алеша молчал. Он сидел, боясь шевельнуться, он слышал ее слова: «Прикажешь – я соскочу», но не ответил, как будто замер. Но не то в нем было, чего мог бы ждать и что мог бы вообразить в нем теперь, например, хоть Ракитин, плотоядно наблюдавший со своего места. Великое горе души его поглощало все ощущения, какие только могли зародиться в сердце его, и если только мог бы он в сию минуту дать себе полный отчет, то и сам бы догадался, что он теперь в крепчайшей броне против всякого соблазна и искушения. Тем не менее, несмотря на всю смутную безотчетность его душевного состояния и на все угнетающее его горе, он все же дивился невольно одному новому и странному ощущению, рождавшемуся в его сердце: эта женщина, эта «страшная» женщина не только не пугала его теперь прежним страхом, страхом, зарождавшимся в нем прежде при всякой мечте о женщине, если мелькала таковая в его душе,

но, напротив, эта женщина, которую он боялся более всех, сидевшая у него на коленях и его обнимавшая, возбуждала в нем вдруг теперь совсем иное, неожиданное и особенное чувство, чувство какого-то необыкновенного, величайшего и чистосердечнейшего к ней любопытства, и все это уже безо всякой боязни, без малейшего прежнего ужаса – вот что было главное и что невольно удивляло его.

– Да полно вздор-то вам болтать, – закричал Ракитин, – а лучше шампанского подавай, долг на тебе, сама знаешь!

– Вправду долг. Ведь я, Алеша, ему за тебя шампанского, сверх всего, обещала, коль тебя приведет. Катай шампанского, и я стану пить! Феня, Феня, неси нам шампанского, ту бутылку, которую Митя оставил, беги скорее. Я хоть и скупая, а бутылку подам, не тебе, Ракитка, ты гриб, а он князь! И хоть не тем душа моя теперь полна, а так и быть, выпью и я с вами, дебоширить хочется!

– Да что` это у тебя за минута, и какая такая там «весть», можно спросить, аль секрет? – с любопытством ввернул опять Ракитин, изо всей силы делая вид, что и внимания не обращает на щелчки, которые в него летели бесперывно.

– Эх, не секрет, да и сам ты знаешь, – озабоченно проговорила вдруг Грушенька, повернув голову к Ракитину и от-клонясь немного от Алеша, хотя все еще продолжала сидеть у него на коленях, рукой обняв его шею, – офицер едет, Ракитин, офицер мой едет!

– Слышал я, что едет, да разве уж так близко?

– В Мокром теперь, оттуда сюда эстафет пришлет, так сам написал, давеча письмо получила. Сижу и жду эстафета.

– Вона! Почему в Мокром?

– Долго рассказывать, да и довольно с тебя.

– То-то Митенька-то теперь – уй, уй! Он-то знает, аль не знает?

– Чего знает! Совсем не знает! Кабы узнал, так убил бы. Да я этого теперь совсем не боюсь, не боюсь я теперь его ножа. Молчи, Ракитка, не поминай мне о Дмитрие Федоровиче: сердце он мне все размозжил. Да не хочу я ни о чем об этом в эту минуту и думать. Вот об Алешечке могу думать, я на Алешечку гляжу... Да усмехнись ты на меня, голубчик, развеселись, на глупость-то мою, на радость-то мою усмехнись... А ведь улыбнулся, улыбнулся! Ишь ласково как смотрит. Я, знаешь, Алеша, все думала, что ты на меня сердиться за третьеводнишнее, за барышню-то. Собака я была, вот что... Только все-таки хорошо оно, что так произошло. И дурно оно было, и хорошо оно было, – вдумчиво усмехнулась вдруг Грушенька, и какая-то жестокая черточка мелькнула вдруг в ее усмешке. – Митя сказывал, что кричала: «Плетьми ее надо!» Разобидела я тогда ее уж очень. Зазвала меня, победить хотела, шоколадом своим обольстить... Нет, оно хорошо, что так произошло, – усмехнулась она опять. – Да вот боюсь все, что ты осердился...

– А ведь и впрямь, – с серьезным удивлением ввернул вдруг Ракитин. – Ведь она тебя, Алеша, в самом деле боится, цыпленок этакого.

– Это для тебя, Ракитка, он цыпленок, вот что... потому что у тебя совести нет, вот что! Я, видишь, я люблю его душой, вот что! Верить, Алеша, что я люблю тебя всею душой?

– Ах ты, бесстыдница! Это она в любви тебе, Алексей, объясняется!

– А что ж, и люблю.

– А офицер? А весточка золотая из Мокрого?

– То одно, а это другое.

– Вот как по-бабьему выходит!

– Не зли меня, Ракитка, – горячо подхватила Грушенька, – то одно, а это другое. Я Алешу по-иному люблю. Правда, Алеша, была у меня на тебя мысль хитрая прежде. Да ведь я низкая, я ведь неистовая, ну, а в другую минуту я, бывало, Алеша, на тебя как на совесть мою смотрю. Все думаю: «Ведь уж как такой меня скверную презирать теперь должен». И третьего

дня это думала, как от барышни сюда бежала. Давно я тебя заметила так, Алеша, и Митя знает, ему говорила. Вот Митя так понимает. Верить ли, иной раз, право, Алеша, смотрю на тебя и стыжусь, все себя стыжусь... И как это я об тебе думать стала и с которых пор, не знаю и не помню...

Вошла Феня и поставила на стол поднос, на нем откупоренную бутылку и три налитых бокала.

– Шампанское принесли! – прокричал Ракитин, – возбуждена ты, Аграфена Александровна, и вне себя. Бокал выпьешь, танцевать пойдешь. Э-эх, и того не сумели сделать, – прибавил он, разглядывая шампанское. – В кухне старуха разлила, и бутылку без пробки принесли, и теплое. Ну, давай хоть так...

Он подошел к столу, взял бокал, выпил залпом и налил себе другой.

– На шампанское-то не часто нарвешься, – проговорил он, облизываясь, – нутка, Алеша, бери бокал, покажи себя. За что же нам пить? За райские двери? Бери, Груша, бокал, пей и ты за райские двери.

– За какие это райские двери?

Она взяла бокал. Алеша взял свой, отпил глоток и поставил бокал назад.

– Нет, уж лучше не надо! – улыбнулся он тихо.

– А хвалился! – крикнул Ракитин.

– Ну и я, коли так, не буду, – подхватила Грушенька, – да и не хочется. Пей, Ракитка, один всю бутылку. Выпьешь, Алеша, и я тогда выпью.

– Телячьи нежности пошли! – поддразнил Ракитин. – А сама на коленках у него сидит! У него, положим, горе, а у тебя что? Он против Бога своего взбунтовался, колбасу собирался жрать...

– Что` так?

– Старец его помер сегодня, старец Зосима, святой.

– Так умер старец Зосима! – воскликнула Грушенька: – Господи, а я того и не знала! – Она набожно перекрестилась. – Господи, да что же я, а я-то у него на коленках теперь сижу! – вскинулась она вдруг как в испуге, мигом соскочила с колен и пересела на диван. Алеша длинно с удивлением поглядел на нее, и на лице его как будто что засветилось.

– Ракитин, – проговорил он вдруг громко и твердо, – не дразни ты меня, что я против Бога моего взбунтовался. Не хочу я злобы против тебя иметь, а потому будь и ты добрее. Я потерял такое сокровище, какого ты никогда не имел, и ты теперь не можешь судить меня. Посмотри лучше сюда на нее: видел, как она меня пощадила? Я шел сюда злую душу найти – так влекло меня самого к тому, потому что я был подл и зол, а нашел сестру искреннюю, нашел сокровище – душу любящую... Она сейчас пощадила меня... Аграфена Александровна, я про тебя говорю. Ты мою душу сейчас восстановила.

У Алеши затряслись губы и стеснилось дыхание. Он остановился.

– Будто уж так и спасла тебя! – засмеялся Ракитин злобно. – А она тебя проглотить хотела, знаешь ты это?

– Стой, Ракитка! – вскочила вдруг Грушенька, – молчите вы оба. Теперь я все скажу: ты, Алеша, молчи, потому что от твоих таких слов меня стыд берет, потому что я злая, а не добрая, – вот я какая. А ты, Ракитка, молчи потому, что ты лжешь. Была такая подлая мысль, что хотела его проглотить, а теперь ты лжешь, теперь все не то... и чтоб я тебя больше совсем не слыхала, Ракитка! – Все это Грушенька проговорила с необыкновенным волнением.

– Ишь ведь оба бесятся! – прошипел Ракитин, с удивлением рассматривая их обоих, – как помешанные, точно я в сумасшедший дом попал. Расслабели обоюдно, плакать сейчас начнут!

– И начну плакать, и начну плакать! – приговаривала Грушенька, – он меня сестрой своей назвал, и я никогда того впредь не забуду! Только вот что, Ракитка, я хоть и злая, а все-таки я луковку подала.

– Каку такую луковку? Фу, черт, да и впрямь помешались!

Ракитин удивлялся на их восторженность и обидчиво злился, хотя и мог бы сообразить, что у обоих как раз сошлось все, что могло потрясти их души так, как случается это не часто в жизни. Но Ракитин, умевший весьма чувствительно понимать все, что касалось его самого, был очень груб в понимании чувств и ощущений ближних своих – отчасти по молодой неопытности своей, а отчасти и по великому своему эгоизму.

– Видишь, Алешечка, – нервно рассмеялась вдруг Грушенька, обращаясь к нему, – это я Ракитке похвалилась, что луковку подала, а тебе не похвалюсь, я тебе с иной целью это скажу.

Это только басня, но она хорошая басня, я ее, еще дитей была, от моей Матрены, что теперь у меня в кухарках служит, слышала. Видишь, как это: «Жила-была одна баба злющая-презлющая, и померла. И не осталось после нее ни одной добродетели. Схватили ее черти и кинули в огненное озеро.

А ангел-хранитель ее стоит да и думает: какую бы мне такую добродетель ее припомнить, чтобы Богу сказать. Вспомнил и говорит Богу: она, говорит, в огороде луковку выдернула и нищенке подала. И отвечает ему Бог: возьми ж ты, говорит, эту самую луковку, протяни ей в озеро, пусть ухватится и тянется, и коли вытянешь ее вон из озера, то пусть в рай идет, а оборвется луковка, то там и оставаться бабе, где теперь. Побежал ангел к бабе, протянул ей луковку: на, говорит, баба, схватись и тянись. И стал он ее осторожно тянуть, и уж всю было вытянул, да грешники прочие в озере, как увидали, что ее тянут вон, и стали все за нее хвататься, чтоб и их вместе с нею вытянули. А баба-то была злющая-презлющая, и почала она их ногами брыкать: “Меня тянут, а не вас, моя луковка, а не ваша”.

Только что она это выговорила, луковка-то и порвалась. И упала баба в озеро и горит по сей день. А ангел заплакал и отошел». Вот она, эта басня, Алеша, наизусть запомнила, потому что сама я и есть эта самая баба злющая. Ракитке я похвалилась, что луковку подала, а тебе иначе скажу: *всего-то* я луковку какую-нибудь во всю жизнь мою подала, всего только на мне и есть добродетели. И не хвали ты меня после того, Алеша, не почитай меня доброю, злая я, злющая-презлющая, а будешь хвалить, в стыд введешь. Эх, да уж покаюсь совсем. Слушай, Алеша: я тебя столь желала к себе залучить и столь приставала к Ракитке, что ему двадцать пять рублей пообещала, если тебя ко мне приведет! Стой, Ракитка, жди! – Она быстрыми шагами подошла к столу, отворила ящик, вынула портмоне, а из него двадцатипятирублевую кредитку.

– Экой вздор! Экой вздор! – восклицал озадаченный Ракитин.

– Принимай, Ракитка, долг, небось не откажешься, сам просил. – И швырнула ему кредитку.

– Еще б отказаться, – пробасил Ракитин, видимо сконфузившись, но молодецкато прикрывая стыд, – это нам вельми на руку будет, дураки и существуют в профит умному человеку.

– А теперь молчи, Ракитка, теперь все, что буду говорить, не для твоих ушей будет. Садись сюда в угол и молчи, не любишь ты нас, и молчи.

– Да за что мне любить-то вас? – не скрывая уже злобы, огрызнулся Ракитин. Двадцатипятирублевую кредитку он сунул в карман, и пред Алешей ему было решительно стыдно. Он рассчитывал получить плату после, так чтобы тот и не узнал, а теперь от стыда озлился. До сей минуты он находил весьма политичным не очень противоречить Грушеньке, несмотря на все ее щелчки, ибо видно было, что она имела над ним какую-то власть. Но теперь и он рассердился:

– Любят за что-нибудь, а вы что мне сделали оба?

– А ты ни за что люби, вот как Алеша любит.

– А чем он тебя любит, и что он тебе такого показал, что ты носишься?

Грушенька стояла среди комнаты, говорила с жаром, и в голосе ее слышались истерические нотки.

– Молчи, Ракитка, не понимаешь ты ничего у нас! И не смей ты мне впредь *ты* говорить, не хочу тебе позволять, и с чего ты такую смелость взял, вот что! Садись в угол и молчи, как мой

лакей! А теперь, Алеша, всю правду чистую тебе одному скажу, чтобы ты видел, какая я тварь! Не Ракитке, а тебе говорю. Хотела я тебя погубить, Алеша, правда это великая, совсем положила; до того хотела, что Ракитку деньгами подкупила, чтобы тебя привел. И из чего такого я так захотела? Ты, Алеша, и не знал ничего, от меня отворачивался, пройдешь – глаза опустишь, а я на тебя сто раз до сего глядела, всех спрашивать об тебе начала. Лицо твое у меня в сердце осталось: «Презирает он меня, – думаю, – посмотреть даже на меня не захочет». И такое меня чувство взяло под конец, что сама себе удивляюсь: чего я такого мальчика боюсь? Проглочу его всего и смеяться буду. Обозлилась совсем. Верить ли тому: никто-то здесь не смеет сказать и подумать, чтоб к Аграфене Александровне за худым этим делом прийти; старик один только тут у меня, связана я ему и продана, сатана нас венчал, зато из других – никто. Но на тебя глядя, положила: его проглочу. Проглочу и смеяться буду. Видишь, какая я злая собака, которую ты сестрой своею назвал! Вот теперь приехал этот обидчик мой, сижу теперь и жду вести. А знаешь, чем был мне этот обидчик? Пять лет тому как завез меня сюда Кузьма – так я сижу, бывало, от людей хоронюсь, чтоб меня не видали и не слышали, тоненькая, глупенькая, сижу да рыдаю, ночей напролет не сплю – думаю: «И уж где ж он теперь, мой обидчик? Смеется, должно быть, с другою надо мной, и уж я ж его, – думаю, – только бы увидеть его, встретить когда: то уж я ж ему отплачу, уж я ж ему отплачу». Ночью в темноте рыдаю в подушку и все это передумую, сердце мое раздираю нарочно, злобой его утоляю: «Уж я ж ему, уж я ж ему отплачу!» Так, бывало, и закричу в темноте. Да как вспомню вдруг, что ничего-то я ему не сделаю, а он-то надо мною смеется теперь, а может, и совсем забыл и не помнит, так кинусь с постели на пол, зальюсь бессильною слезою и трясусь-трясусь до рассвета. Поутру встану злее собаки, рада весь свет проглотить. Потом, что ж ты думаешь: стала я капитал копить, без жалости сделалась, растолстела – поумнела, ты думаешь, а? Так вот нет же, никто того не видит и не знает во всей вселенной, а как сойдет мрак ночной, все так же, как и девчонкой, пять лет тому, лежу иной раз, скрежещу зубами и всю ночь плачу: «Уж я ж ему, да уж я ж ему, думаю!»

Слышал ты это все? Ну так как же ты теперь понимаешь меня: месяц тому приходит ко мне вдруг это самое письмо: едет он, овдовел, со мною повидаться хочет. Дух у меня тогда весь захватило, Господи, да вдруг и подумала: а приедет да свистнет мне, позовет меня, так я как собачонка к нему поползу битая, виноватая! Думаю это я и сама себе не верю: «Подлая я аль не подлая, побегу я к нему аль не побегу?» И такая меня злость взяла теперь на самое себя во весь этот месяц, что хуже еще, чем пять лет тому. Видишь ли теперь, Алеша, какая я неистовая, какая яростная, всю тебе правду выразила! Митей забавлялась, чтобы к тому не бежать. Молчи, Ракитка, не тебе меня судить, не тебе говорила. Я теперь до вашего прихода лежала здесь, ждала, думала, судьбу мою всю разрешала, и никогда вам не узнать, что у меня в сердце было. Нет, Алеша, скажи своей барышне, чтоб она за третьеводнишнее не сердилась!.. И не знает никто во всем свете, каково мне теперь, да и не может знать... Потому я, может быть, сегодня туда с собой нож возьму, я еще того не решила...

И, вымолвив это «жалкое» слово, Грушенька вдруг не выдержала, не dokonчила, закрыла лицо руками, бросилась на диван в подушки и зарыдала, как малое дитя. Алеша встал с места и подошел к Ракитину.

– Миша, – проговорил он, – не сердись. Ты обижен ею, но не сердись. Слышал ты ее сейчас? Нельзя с души человека столько спрашивать, надо быть милосерднее...

Алеша проговорил это в неудержимом порыве сердца. Ему надо было высказаться, и он обратился к Ракитину. Если б не было Ракитина, он стал бы восклицать один. Но Ракитин поглядел насмешливо, и Алеша вдруг остановился.

– Это тебя твоим старцем давеча зарядили, и теперь ты своим старцем в меня и выпалил, Алешенька, Божий человечек, – с ненавистною улыбкой проговорил Ракитин.

– Не смейся, Ракитин, не усмехайся, не говори про покойника: он выше всех, кто был на земле! – с плачем в голосе прокричал Алеша. – Я не как судья тебе встал говорить, а сам, как

последний из подсудимых. Кто я пред нею? Я шел сюда, чтобы погибнуть и говорил: «Пусть, пусть!» – и это из-за моего малодушия, а она, через пять лет муки, только что кто-то первый пришел и ей искреннее слово сказал, – все простила, все забыла и плачет! Обидчик ее воротился, зовет ее, и она все прощает ему и спешит к нему в радости, и не возьмет ножа, не возьмет! Нет, я не таков. Я не знаю, таков ли ты, Миша, но я не таков. Я сегодня, сейчас этот урок получил... Она выше любовью, чем мы... Слышал ли ты от нее прежде то, что она рассказала теперь? Нет, не слышал; если бы слышал, то давно бы все понял... и другая обиженная третьего дня, и та пусть простит ее! И простит, коль узнает... и узнает... Эта душа еще не примиренная, надо шадить ее... в душе этой, может быть, сокровище...

Алеша замолк, потому что ему пересекло дыхание. Ракитин, несмотря на всю свою злость, глядел с удивлением. Никогда не ожидал он от тихого Алеша такой тирады.

– Вот адвокат проявился! Да ты влюбился в нее, что ли? Аграфена Александровна, ведь постник-то наш и впрямь в тебя влюбился, победила! – прокричал он с наглым смехом.

Грушенька подняла с подушки голову и поглядела на Алешу с умиленной улыбкой, засиявшею на ее как-то вдруг распухшем от сейчасных слез лице.

– Оставь ты его, Алеша, херувим ты мой, видишь он какой, нашел кому говорить. Я, Михаил Осипович, – обратилась она к Ракитину, – хотела было у тебя прощения попросить за то, что обругала тебя, да теперь опять не хочу. Алеша, поди ко мне, сядь сюда, – манила она его с радостною улыбкой, – вот так, вот садись сюда, скажи ты мне (она взяла его за руку и заглядывала ему, улыбаясь, в лицо), – скажи ты мне: люблю я того или нет? Обидчика-то моего, люблю или нет? Лежала я до вас здесь в темноте, все допрашивала сердце: люблю я того или нет? Разрешь ты меня, Алеша, время пришло, что положишь, так и будет. Простить мне его или нет?

– Да ведь уж простила, – улыбаясь проговорил Алеша.

– А и впрямь простила, – вдумчиво произнесла Грушенька. – Экое ведь подлое сердце! За подлое сердце мое! – схватила она вдруг со стола бокал, разом выпила, подняла его и с размаха бросила на пол. Бокал разбился и зазвенел. Какая-то жестокая черточка мелькнула в ее улыбке.

– А ведь, может, еще и не простила, – как-то грозно проговорила она, опустив глаза в землю, как будто одна сама с собой говорила. – Может, еще только собирается сердце простить. Поборюсь еще с сердцем-то. Я, видишь, Алеша, слезы мои пятилетние страх полюбила... Я, может, только обиду мою и полюбила, а не его вовсе!

– Ну, не хотел бы я быть в его коже! – прошипел Ракитин.

– И не будешь, Ракитка, никогда в его коже не будешь. Ты мне башмаки будешь шить, Ракитка, вот я тебя на какое дело употреблю, а такой, как я, тебе никогда не видать... Да и ему может не увидать...

– Ему-то? А нарядилась-то зачем? – ехидно поддразнил Ракитин.

– Не кори меня нарядом, Ракитка, не знаешь еще ты всего моего сердца! Захочу и сорву наряд, сейчас сорву, сию минуту, – звонко прокричала она. – Не знаешь ты, для чего этот наряд, Ракитка! Может, выйду к нему и скажу: «Видал ты меня такую, аль нет еще?» Ведь он меня семнадцатилетнюю, тоненькую, чахоточную плаксу оставил. Да подсяду к нему, да обольщу, да разожду его: «Видал ты, какова я теперь, – скажу, – ну так и оставайся при том, милостивый государь, по усам текло, а в рот не попало!» – вот ведь к чему, может, этот наряд, Ракитка, – закончила Грушенька со злобным смешком. – Неистовая я, Алеша, яростная. Сорву я мой наряд, изувечу я себя, мою красоту, обожгу себе лицо и разрежу ножом, пойду милостыню просить. Захочу и не пойду я теперь никуда и ни к кому, захочу – завтра же отошлю Кузьме все, что он мне подарил, и все деньги его, а сама на всю жизнь работницей поденной пойду!.. Думаешь, не сделаю я того, Ракитка, не посмею сделать? Сделаю, сделаю, сейчас могу сделать, не раздражайте только меня... а того прогоню, тому шиш покажу, тому меня не видать!

Последние слова она истерически прокричала, но не выдержала опять, закрыла руками лицо, бросилась в подушку и опять затряслась от рыданий. Ракитин встал с места:

– Пора, – сказал он, – поздно, в монастырь не пропустят.

Грушенька так и вскочила с места.

– Да неужто ж ты уходить, Алеша, хочешь! – воскликнула она в горестном изумлении, – да что ж ты надо мной теперь делаешь: всю воззвал, истерзал и опять теперь эта ночь, опять мне одной оставаться!

– Не ночевать же ему у тебя? А коли хочет – пусть! Я и один уйду! – язвительно подшутил Ракитин.

– Молчи, злая душа, – яростно крикнула ему Грушенька, – никогда ты мне таких слов не говорил, какие он мне пришел сказать.

– Что он такое тебе сказал? – раздражительно проворчал Ракитин.

– Не знаю я, не ведаю, ничего не ведаю, что он мне такое сказал, сердцу сказало, сердце он мне перевернул... Пожалел он меня первый, единственный, вот что! Зачем ты, херувим, не приходил прежде, – упала вдруг она пред ним на колени как бы в исступлении. – Я всю жизнь такого, как ты, ждала, знала, что кто-то такой придет и меня простит. Верила, что и меня кто-то полюбит, гадкую, не за один только срам!..

– Что я тебе такого сделал? – умиленно улыбаясь, отвечал Алеша, нагнувшись к ней и нежно взяв ее за руки, – луковку я тебе подал, одну самую малую луковку, только, только!..

И, проговорив, сам заплакал. В эту минуту в сенях вдруг раздался шум, кто-то вошел в переднюю; Грушенька вскочила как бы в страшном испуге. В комнату с шумом и криком вбежала Феня.

– Барыня, голубушка, барыня, эстафет прискакал! – восклицала она весело и запыхавшись. – Тарантас из Мокрого за вами. Тимофей ямщик на тройке, сейчас новых лошадей переложат... Письмо, письмо, барыня, вот письмо!

Письмо было в ее руке, и она все время, пока кричала, махала им по воздуху. Грушенька выхватила от нее письмо и поднесла к свечке. Это была только записочка, несколько строк, в один миг она прочла ее.

– Кликнул! – прокричала она, вся бледная с перекосившимся от болезненной улыбки лицом, – свистнул! Ползи, собачонка!

Но только миг один простояла как бы в нерешимости; вдруг кровь бросилась в ее голову и залила ее щеки огнем.

– Еду! – воскликнула она вдруг. – Пять моих лет! Прощайте! Прощай, Алеша, решена судьба... Ступайте, ступайте, ступайте от меня теперь все, чтоб я уже вас не видала!.. Полетела Грушенька в новую жизнь... Не поминай меня лихом и ты, Ракитка. Может, на смерть иду! Ух!словно пьяная!

Она вдруг бросила их и побежала в свою спальню.

– Ну, ей теперь не до нас! – проворчал Ракитин. – Идем, а то, пожалуй, опять этот бабий крик пойдет, надоели уж мне эти слезные крики...

Алеша дал себя машинально вывести. На дворе стоял тарантас, выпрягали лошадей, ходили с фонарем, суетились. В отворенные ворота вводили свежую тройку. Но только что сошли Алеша и Ракитин с крыльца, как вдруг отворилось окно из спальни Грушеньки, и она звонким голосом прокричала вслед Алеше:

– Алешечка, поклонись своему братцу Митеньке, да скажи ему, чтобы не поминал меня, злодейку свою, лихом. Да передай ему тоже моими словами: «Подлецу досталась Грушенька, а не тебе, благородному!» Да прибавь ему тоже, что любила его Грушенька один часок времени, только один часок всего и любила, – так чтоб он этот часок всю жизнь свою отселева помнил, так, дескать, Грушенька на всю жизнь тебе заказала!..

Она закончила голосом, полным рыданий. Окно захлопнулось.

– Гм! Гм! – промычал Ракитин, смеясь, – зарезала братца Митеньку, да еще велит на всю жизнь свою помнить. Экое плотоядие!

Алеша ничего не ответил, точно и не слышал; он шел подле Ракитина скоро, как бы ужасно спеша; он был как бы в забытьи, шел машинально. Ракитина вдруг чего-то укололо, точно ранку его свежую тронули пальцем. Совсем не того ждал он давеча, когда сводил Грушеньку с Алешей; совсем иное случилось, а не то, чего бы ему очень хотелось.

– Поляк он, ее офицер этот, – заговорил он опять, сдерживаясь, – да и не офицер он вовсе теперь, он в таможене чиновником в Сибири служил, где-то там на китайской границе, должно быть, какой поляночек мозглявенький. Место, говорят, потерял. Прослышал теперь, что у Грушеньки капитал завелся, вот и вернулся – в том и все чудеса.

Алеша опять точно не слышал. Ракитин не выдержал:

– Что ж, обратился грешницу? – злобно засмеялся он Алеше. – Блудницу на путь истины обратился? Семь бесов изгнал, а? Вот они где, наши чудеса-то давешние, ожидаемые, совершились!

– Перестань, Ракитин, – со страданием в душе отозвался Алеша.

– Это ты теперь за двадцать пять рублей меня давешних «презираешь»? Продал, дескать, истинного друга. Да ведь ты не Христос, а я не Иуда.

– Ах, Ракитин, уверяю тебя, я и забыл об этом, – воскликнул Алеша, – сам ты сейчас напомнил...

Но Ракитин озлился уже окончательно.

– Да черт вас дери всех и каждого! – завопил он вдруг, – и зачем я, черт, с тобою связался! Знать я тебя не хочу больше отселева. Пошел один, вон твоя дорога!

И он круто повернул в другую улицу, оставив Алешу одного во мраке. Алеша вышел из города и пошел полем к монастырю.

## IV

### Кана Галилейская

Было уже очень поздно по-монастырскому, когда Алеша пришел в скит; его пропустил привратник особым путем. Пробило уже девять часов – час общего отдыха и покоя после столь тревожного для всех дня. Алеша робко отворил дверь и вступил в келью старца, в которой теперь стоял гроб его. Кроме отца Паисия, уединенно читавшего над гробом Евангелие, и юноши послушника Порфирия, утомленного вчерашнею ночью беседой и сегодняшней суетой и спавшего в другой комнате на полу своим крепким молодым сном, в келье никого не было. Отец Паисий, хоть и слышал, что вошел Алеша, но даже и не посмотрел в его сторону. Алеша повернул вправо от двери в угол, стал на колени и начал молиться. Душа его была переполнена, но как-то смутно, и ни одно ощущение не выделялось, слишком сказываясь, напротив, одно вытесняло другое в каком-то тихом, ровном коловращении. Но сердцу было сладко, и, странно, Алеша не удивлялся тому. Опять видел он пред собою этот гроб, этого закрытого кругом драгоценного ему мертвеца, но плачущей, ноющей, мучительной жалости не было в душе его, как давеча утром. Пред гробом, сейчас войдя, он пал как пред святыней, но радость, радость сияла в уме его и в сердце его. Одно окно кельи было отперто, воздух стоял свежий и холодноватый – «значит, дух стал еще сильнее, коли решились отворить окно», – подумал Алеша. Но и эта мысль о тлетворном духе, казавшаяся ему еще только давеча столь ужасною и бесславною, не подняла теперь в нем давешней тоски и давешнего негодования. Он тихо начал молиться, но вскоре сам почувствовал, что молится почти машинально. Обрывки мыслей мелькали в душе его, загорались, как звездочки, и тут же гасли, сменяясь другими, но зато царило в душе что-то целое, твердое, утешающее, и он сознавал это сам. Иногда он пламенно начинал молитву, ему так захотелось благодарить и любить... Но, начав молитву, переходил

вдруг на что-нибудь другое, задумывался, забывал и молитву, и то, чем прервал ее. Стал было слушать, что читал отец Паисий, но, утомленный очень, мало-помалу начал дремать...

*«И в третий день брак бысть в Кане Галилейстей, – читал отец Паисий, – и бе Мати Иисусова ту. Зван же бысть Иисус и ученицы его на брак».*

«Брак? Что это... брак... – неслось как вихрь в уме Алеши, – у ней тоже счастье... поехала на пир... Нет, она не взяла ножа, не взяла ножа... Это было только «жалкое» слово... Ну... жалкие слова надо прощать, непременно. Жалкие слова тешат душу... без них горе было бы слишком тяжело у людей. Ракитин ушел в переулочок. Пока Ракитин будет думать о своих обидах, он будет всегда уходить в переулочок... А дорога... дорога-то большая, прямая, светлая, хрустальная и солнце в конце ее... А?... что читают?»

*«...И не доставишу виноу, глагола Мати Иисусова к Нему: вина не имут...»* – слышалось Алеше.

«Ах да, я тут пропустил, а не хотел пропускать, я это место люблю: это Кана Галилейская, первое чудо... Ах, это чудо, ах, это милое чудо! Не горе, а радость людскую посетил Христос, в первый раз сотворяя чудо, радости людской помог... “Кто любит людей, тот и радость их любит...” Это повторял покойник поминутно, это одна из главнейших мыслей его была... Без радости жить нельзя, говорит Митя... Да, Митя... Все, что истинно и прекрасно, всегда полно всепрощения – это опять-таки он говорил...»

*«...Глагола ей Иисус: что есть Мне и тебе жено; не у прииде час Мой. Глагола Мати Его слугам: еже аще глаголет вам, сотворите...»*



«Сотворите... Радость, радость каких-нибудь бедных, очень бедных людей... Уж конечно, бедных, коли даже на свадьбу вина не достало... Вон пишут историки, что около озера Генисаретского и во всех тех местах расселено было тогда самое беднейшее население, какое только можно вообразить... И знало же другое великое сердце другого великого существа, бывшего тут же, Матери Его, что не для одного лишь великого страшного подвига Своего сошел Он тогда, а что доступно сердцу Его и простодушное немудрое веселие каких-нибудь темных, темных и нехитрых существ, ласково позвавших Его на убогий брак их. “Не пришел еще час Мой”, – Он говорит с тихой улыбкой (непреренно улыбнулся ей кротко)... В самом

деле, неужто для того, чтоб умножать вино на бедных свадьбах, сошел Он на землю? А вот пошел же и сделал же по Ее просьбе... Ах, он опять читает».

*«...Глагола им Иисус: наполните водоносы воды, и наполниши их до верха.*

*И глагола им: почерпите ныне и принесите архитриклинови, и принесоша.*

*Якоже вкуси архитриклин вина бывшего от воды, и не ведяще откуда есть: слуги же ведяху почерпшии воду: пригласи жениха архитриклин.*

*И глагола ему: всяк человек прежде доброе вино полагает, и егда упиются, тогда худшее: ты же соблюл еси доброе вино доселе».*

«Но что это, что это? Почему раздвигается комната... Ах да... ведь это брак, свадьба... да, конечно. Вот и гости, вот и молодые сидят и веселая толпа и... где же премудрый архитриклин? Но кто это? Кто? Опять раздвинулась комната... Кто встает там из-за большого стола? Как... И он здесь? Да ведь он во гробе... Но он и здесь... встал, увидал меня, идет сюда... Господи!..

Да, к нему, к нему подошел он, сухенький старичок, с мелкими морщинками на лице, радостный и тихо смеющийся. Гроба уж нет, и он в той же одежде, как и вчера сидел с ними, когда собрались к нему гости. Лицо все открытое, глаза сияют. Как же это, он, стало быть, тоже на пире, тоже званный на брак в Кане Галилейской...

– Тоже, милый, тоже зван, зван и призван, – раздается над ним тихий голос. – Зачем сюда схоронился, что не видать тебя... пойдем и ты к нам.

Голос его, голос старца Зосимы... Да и как же не он, коль зовет? Старец приподнял Алешу рукой, тот поднялся с колен.

– Веселимся, – продолжает сухенький старичок, – пьем вино новое, вино радости новой, великой; видишь, сколько гостей? Вот и жених и невеста, вот и премудрый архитриклин, вино новое пробует. Чего дивишься на меня? Я луковку подал, вот и я здесь. И многие здесь только по луковке подали, по одной только маленькой луковке... Что наши дела? И ты, тихий, и ты, кроткий мой мальчик, и ты сегодня луковку сумел подать алчущей. Начинай, милый, начинай, кроткий, дело свое!.. А видишь ли Солнце наше, видишь ли ты Его?

– Боюсь... не смею глядеть... – прошептал Алеша.

– Не бойся его. Страшен величием пред нами, ужасен высотой Своею, но милостив бесконечно, нам из любви уподобился и веселится с нами, воду в вино превращает, чтобы не пресекалась радость гостей, новых гостей ждет, новых беспрерывно зовет и уже на веки веков. Вон и вино несут новое, видишь, сосуды несут...»

Что-то горело в сердце Алеши, что-то наполнило его вдруг до боли, слезы восторга рвались из души его... Он простер руки, вскрикнул и проснулся...

Опять гроб, открытое окно и тихое, важное, отдельное чтение Евангелия. Но Алеша уже не слушал, что читают. Странно, он заснул на коленях, а теперь стоял на ногах, и вдруг, точно сорвавшись с места, тремя твердыми скорыми шагами подошел вплоть ко гробу. Даже задел плечом отца Паисия и не заметил того. Тот на мгновение поднял было на него глаза от книги, но тотчас же отвел их опять, поняв, что с юношей что-то случилось странное. Алеша глядел с полминуты на гроб, на закрытого, недвижимого, протянутого в гробу мертвеца, с иконой на груди и с куколем с восьмиконечным крестом на голове. Сейчас только он слышал голос его, и голос этот еще раздавался в его ушах. Он еще прислушивался, он ждал еще звуков... но вдруг, круто повернувшись, вышел из кельи.

Он не остановился и на крылечке, но быстро сошел вниз. Полная восторгом душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звезд. С зенита до горизонта двоился еще неясный Млечный Путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегла землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в клумбах около дома заснули до

утра. Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною... Алеша стоял, смотрел, и вдруг, как подкошенный, повергся на землю.

Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее, целовать ее всю, но он целовал ее плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступленно клялся любить ее, любить во веки веков. «Облей землю слезами радости твоея и люби сии слезы твои...» – прозвенело в душе его. О чем плакал он? О, он плакал в восторге своем даже и об этих звездах, которые сияли ему из бездны, и «не стыдился исступления сего». Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, «соприкасаясь мирам иным». Простить хотелось всем и за все, и просить прощения, о! не себе, а за всех, за все и за вся, а «за меня и другие просят», – прозвенело опять в душе его. Но с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме его – и уже на всю жизнь и на веки веков. Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом, и сознал и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга. И никогда, никогда не мог забыть Алеша во всю жизнь свою потом этой минуты. «Кто-то посетил мою душу в тот час!» – говорил он потом с твердою верой в слова свои...

Через три дня он вышел из монастыря, что согласовалось и со словом покойного старца его, повелевшего ему «пребывать в миру».

## Книга восьмая

### Митя

#### I

### Кузьма Самсонов

А Дмитрий Федорович, которому Грушенька, улетая в новую жизнь, «велела» передать свой последний привет и заказала помнить навеки часок ее любви, был в эту минуту, ничего не ведая о происшедшем с нею, тоже в страшном смятении и хлопотах. В последние два дня он был в таком невообразимом состоянии, что действительно мог заболеть воспалением в мозгу, как сам потом говорил. Алеша накануне не мог разыскать его утром, а брат Иван в тот же день не мог устроить с ним свидания в трактире. Хозяева квартирки, в которой он квартировал, скрыли по его приказу следы его. Он же в эти два дня буквально метался во все стороны, «борясь со своею судьбой и спасая себя», как он сам потом выразился, и даже на несколько часов слетал по одному горячему делу вон из города, несмотря на то, что страшно было ему уезжать, оставляя Грушеньку хоть на минутку без глаза над нею. Все это впоследствии выяснилось в самом подробном и документальном виде, но теперь мы наметим фактически лишь самое необходимое из истории этих ужасных двух дней в его жизни, предшествовавших страшной катастрофе, так внезапно разразившейся над судьбой его.

Грушенька хоть и любила его часочек истинно и искренно, это правда, но и мучила же его в то же время иной раз действительно жестоко и беспощадно. Главное в том, что ничего-то он не мог разгадать из ее намерений; выманить же лаской или силой не было тоже возможности: не далась бы ни за что, а только бы рассердилась и отвернулась от него вовсе, это он ясно тогда понимал. Он подозревал тогда весьма верно, что она и сама находится в какой-то борьбе, в какой-то необычайной нерешительности, на что-то решается и все решиться не может, а потому и не без основания предполагал, замирая сердцем, что минутами она должна была просто ненавидеть его с его страстью. Так, может быть, и было, но о чем именно тосковала Грушенька, того он все-таки не понимал. Собственно для него весь вопрос, его мучивший, складывался лишь в два определения: «Или он, Митя, или Федор Павлович». Тут, кстати, нужно обозначить один твердый факт: он вполне был уверен, что Федор Павлович непременно предложит (если уж не предложил) Грушеньке законный брак, и не верил ни минуты, что старый сластолюбец надеется отделаться лишь тремя тысячами. Это вывел Митя, зная Грушеньку и ее характер. Вот почему ему и могло казаться временами, что вся мука Грушеньки и вся нерешимость происходит тоже лишь от того, что она не знает, кого из них выбрать и кто из них будет ей выгоднее. О близком же возвращении «офицера», то есть того рокового человека в жизни Грушеньки, прибытия которого она ждала с таким волнением и страхом, он – странно это – в те дни даже и не думал думать. Правда, что Грушенька с ним об этом в самые последние дни очень молчала. Однако ему было вполне известно от нее же самой о письме, полученном тою месяц назад от этого бывшего ее обольстителя, было известно отчасти и содержание письма. Тогда, в одну злую минутку, Грушенька ему это письмо показала, но, к ее удивлению, письму этому он не придал почти никакой цены. И очень было бы трудно объяснить, почему: может быть, просто потому, что сам, угнетенный всем безобразием и ужасом своей борьбы с родным отцом за эту женщину, он уже и предположить не мог для себя ничего страшнее и опаснее, по крайней мере, в то время. Жениху же, вдруг выскочившему откуда-то после пятилетнего исчезновения, он просто даже не верил, и особенно тому, что тот скоро приедет. Да и в самом этом первом письме «офицера», которое показали Митеньке, говорилось о приезде этого

нового соперника весьма неопределенно: письмо было очень туманное, очень высокопарное и наполнено лишь чувствительностью. Надо заметить, что Грушенька в тот раз скрыла от него последние строчки письма, в которых говорилось несколько определеннее о возвращении. К тому же Митенька вспоминал потом, что в ту минуту уловил как бы некоторое невольное и гордое презрение к этому посланию из Сибири в лице самой Грушеньки. Затем Грушенька о всех дальнейших сношениях с этим новым соперником Митеньке уже ничего не сообщала. Таким образом и мало-помалу он совсем даже забыл об офицере. Он думал только о том, что что бы там ни вышло и как бы дело ни обернулось, а надвигающаяся окончательная сшибка его с Федором Павловичем слишком близка и должна разрешиться раньше всего другого. Замирая душой, он ежеминутно ждал решения Грушеньки и все верил, что оно произойдет как бы внезапно, по вдохновению. Вдруг она скажет ему: «Возьми меня, я навеки твоя», – и все кончится: он схватит ее и увезет на край света тотчас же. О, тотчас же увезет как можно, как можно дальше, если не на край света, то куда-нибудь на край России, женится там на ней и поселится с ней *incognito*<sup>2</sup>, так чтоб уж никто не знал о них вовсе, ни здесь, ни там и нигде. Тогда, о, тогда начнется тотчас же совсем новая жизнь! Об этой другой, обновленной и уже «добродетельной» жизни («непрерывно, непрерывно добродетельной») он мечтал поминутно и испуганно. Он жаждал этого воскресенья и обновления. Гнусный омут, в котором он завяз сам своею волей, слишком тяготил его, и он, как и очень многие в таких случаях, всего более верил в перемену места: только бы не эти люди, только бы не эти обстоятельства, только бы улететь из этого проклятого места и – все возродится, пойдет по-новому! Вот во что он верил и по чем томился.

Но это было лишь в случае первого, *счастливого* решения вопроса. Было и другое решение, представлялся и другой, но ужасный уже исход. Вдруг она скажет ему: «Ступай, я порешила сейчас с Федором Павловичем, и выхожу за него замуж, а тебя не надо» – и тогда... но тогда... Митя, впрочем, не знал, что будет тогда, до самого последнего часу не знал, в этом надо его оправдать. Намерений определенных у него не было. Он только следил, шпионил и мучился, но готовился все-таки лишь к первому счастливому исходу судьбы своей. Даже отгонял всякую другую мысль. Но здесь уже начиналась совсем другая мука, вставало одно совсем новое и постороннее, но тоже роковое и неразрешимое обстоятельство.

Именно, в случае, если она скажет ему: «Я твоя, увези меня», то как он ее увезет? Где у него на то средства, деньги? У него как раз к этому сроку иссякли все, до сих пор не прерывавшиеся в продолжение стольких лет, его доходы от подачек Федора Павловича. Конечно, у Грушеньки были деньги, но в Мите на этот счет вдруг оказалась страшная гордость: он хотел увезти ее сам и начать с ней новую жизнь на свои средства, а не на ее; он вообразить даже не мог, что возьмет у нее ее деньги, и страдал от этой мысли до мучительного отвращения. Не распространяюсь здесь об этом факте, не анализирую его, а лишь отмечаю: таков был склад души его в ту минуту. Могло все это происходить косвенно и как бы бессознательно даже от тайных мук его совести за воровски присвоенные им деньги Катерины Ивановны: «Пред одной подлец и пред другой тотчас выйду опять подлец, – думал он тогда, как сам потом признавался, – да Грушенька, коли узнает, так и сама не захочет такого подлеца». Итак, где же взять средства, где взять эти роковые деньги? Иначе все пропадет и ничего не состоится, «и единственно потому, что не хватило денег, о, позор!»

Забегая вперед: то-то и есть, что он, может быть, и знал, где достать эти деньги, знал, может быть, где и лежат они. Подробнее на этот раз ничего не скажу, ибо потом все объяснится; но вот в чем состояла главная для него беда, и хотя неясно, но я это выскажу; чтобы взять эти лежащие где-то средства, чтобы *иметь право* взять их, надо было предварительно возвратить три тысячи Катерине Ивановне – иначе «я карманный вор, подлец, а новую жизнь я

<sup>2</sup> тайно (*лат.*).

не хочу начинать подлецом», – решил Митя, а потому решил перевернуть весь мир, если надо, но непременно эти три тысячи отдать Катерине Ивановне во что бы то ни стало и *прежде всего*. Окончательный процесс этого решения произошел с ним, так сказать, в самые последние часы его жизни, именно с последнего свидания с Алешей, два дня тому назад вечером, на дороге, после того, как Грушенька оскорбила Катерину Ивановну, а Митя, выслушав рассказ о том от Алеши, сознался, что он подлец, и велел передать это Катерине Ивановне, «если это может сколько-нибудь ее облегчить». Тогда же, в ту же ночь, расставшись с братом, почувствовал он в исступлении своем, что лучше ему даже «убить и ограбить кого-нибудь, но долг Кате возвратить». «Пусть уж лучше я пред тем, убитым и ограбленным – убийцей и вором выйду и пред всеми людьми, и в Сибирь пойду, чем если Катя вправе будет сказать, что я ей изменил и у нее же деньги украл, и на ее же деньги с Грушенькой убежал добродетельную жизнь начинать! Этого я не могу!» Так со скрежетом зубов изрек Митя и действительно мог представлять себе временами, что кончит воспалением в мозгу. Но пока боролся...

Странное дело: казалось бы, что тут при таком решении, кроме отчаяния, ничего уже более для него не оставалось; ибо где взять вдруг такие деньги, да еще такому голышу, как он? А между тем он до конца все то время надеялся, что достанет эти три тысячи, что они придут, слетят к нему как-нибудь сами, даже хоть с неба. Но так именно бывает с теми, которые, как и Дмитрий Федорович, всю жизнь свою умеют лишь тратить и мотать доставшиеся по наследству деньги даром, а о том, как добываются деньги, не имеют никакого понятия. Самый фантастический вихрь поднялся в голове его сейчас после того, как он третьего дня расстался с Алешей, и спутал все его мысли. Таким образом вышло, что начал он с самого дикого предприятия.

Да, может быть, именно в этаких положениях у этаких людей самые невозможные и фантастические предприятия представляются первыми возможнейшими. Он вдруг порешил пойти к купцу Самсонову, покровителю Грушеньки, и предложить ему один «план», достать от него под этот «план» разом всю искомую сумму; в плане своем с коммерческой стороны он не сомневался нисколько, а сомневался лишь в том, как посмотрит на его выходку сам Самсонов, если захочет взглянуть не с одной только коммерческой стороны. Митя хоть и знал этого купца в лицо, но знаком с ним не был и даже ни разу не говорил с ним. Но почему-то в нем, и даже уже давно, основалось убеждение, что этот старый развратитель, дышавший теперь на ладан, может быть, вовсе не будет в настоящую минуту противиться, если Грушенька устроит как-нибудь свою жизнь честно и выйдет за «благонадежного человека» замуж. И что не только не будет противиться, но что и сам желает этого и, навернись только случай, сам будет способствовать. По слухам ли каким или из каких-нибудь слов Грушеньки, но он заключил тоже, что старик, может быть, предпочел бы его для Грушеньки Федору Павловичу. Может быть, многим из читателей нашей повести покажется этот расчет на подобную помощь и намерение взять свою невесту, так сказать, из рук ее покровителя слишком уж грубым и небрежливый со стороны Дмитрия Федоровича. Могу заметить лишь то, что прошлое Грушеньки представлялось Мите уже окончательно прошедшим. Он глядел на это прошлое с бесконечным состраданием и решил со всем пламенем своей страсти, что раз Грушенька выговорит ему, что его любит и за него идет, то тотчас же и начнется совсем новая Грушенька, а вместе с нею и совсем новый Дмитрий Федорович, безо всяких уже пороков, а лишь с одними добродетелями: оба они друг другу простят и начнут свою жизнь уже совсем по-новому. Что же до Кузьмы Самсонова, то считал он его, в этом прежнем провалившемся прошлом Грушеньки, за человека в жизни ее рокового, которого она, однако, никогда не любила и который, это главное, уже тоже «прошел», кончился, так что и его уже нет теперь вовсе. Да к тому же Митя его даже и за человека теперь считать не мог, ибо известно было всем и каждому в городе, что это лишь большая развалина, сохранившая отношения с Грушенькой, так сказать, лишь отеческие, а совсем не на тех основаниях, как прежде, и что это уже давно так. Во всяком случае тут было много и простодушия со стороны Мити, ибо при всех пороках своих это был очень простодушный

человек. Вследствие этого-то простодушия своего он, между прочим, был серьезно убежден, что старый Кузьма, собираясь отходить в другой мир, чувствует искреннее раскаяние за свое прошлое с Грушенькой, и что нет теперь у нее покровителя и друга более преданного, как этот безвредный уже старик.

На другой же день после разговора своего с Алешей в поле, после которого Митя почти не спал всю ночь, он явился в дом Самсонова около десяти часов утра и велел о себе доложить. Дом этот был старый, мрачный, очень обширный, двухэтажный, с надворными строениями и с флигелем. В нижнем этаже проживали два женатых сына Самсонова со своими семьями, престарелая сестра его и одна незамужняя дочь. Во флигеле же помещались два его приказчика, из которых один был тоже многосемейный. И дети, и приказчики теснились в своих помещениях, но верх дома занимал старик один и не пускал к себе жить даже дочь, ухаживавшую за ним и которая в определенные часы и в неопределенные зовы его должна была каждый раз взбегать к нему наверх снизу, несмотря на давнишнюю одышку свою. Этот «верх» состоял из множества больших парадных комнат, меблированных по купеческой старине, с длинными скучными рядами неуклюжих кресел и стульев красного дерева по стенам, с хрустальными люстрами в чехлах, с угрюмыми зеркалами в простенках. Все эти комнаты стояли совсем пустыми и необитаемыми, потому что больной старик жался лишь в одной комнатке, в отдаленной маленькой своей спальне, где прислуживала ему старуха-служанка, с волосами в платочке, да «малый», пребывавший на залавке в передней. Ходить старик из-за распухших ног своих почти совсем уже не мог и только изредка поднимался со своих кожаных кресел, и старуха, придерживая его под руки, проводила его раз-другой по комнате. Был он строг и неразговорчив даже с этою старухой. Когда доложили ему о приходе «капитана», он тотчас же велел отказать. Но Митя настаивал и доложил еще раз. Кузьма Кузьмич опросил подробно малого: что, дескать, каков с виду, не пьян ли? Не буйнит ли? И получил в ответ, что «тверез, но уходить не хочет». Старик опять велел отказать. Тогда Митя, все это предвидевший и нарочно на сей случай захвативший с собой бумагу и карандаш, четко написал на клочке бумаги одну строчку: «По самонужнейшему делу, близко касающемуся Аграфены Александровны», – и послал это старику. Подумав несколько, старик велел малому ввести посетителя в залу, а старуху послал вниз с приказанием к младшему сыну сейчас же явиться к нему наверх. Этот младший сын, мужчина вершков двенадцати и силы непомерной, бривший лицо и одевавшийся по-немецки (сам Самсонов ходил в кафтане и с бородой), явился немедленно и безмолвно. Все они пред отцом трепетали. Пригласил отец этого молодца не то чтоб из страха пред капитаном, характера он был весьма не робкого, а так лишь, на всякий случай, более чтоб иметь свидетеля. В сопровождении сына, взявшего его под руку, и малого он выплыл наконец в залу. Надо думать, что ощущал он и некоторое довольно сильное любопытство. Зала эта, в которой ждал Митя, была огромная, угрюмая, убивавшая тоской душу комната, в два света, с хорами, со стенами «под мрамор» и с тремя огромными хрустальными люстрами в чехлах. Митя сидел на стульчике у входной двери и в нервном нетерпении ждал своей участи. Когда старик появился у противоположного входа, сажень за десять от стула Мити, то тот вдруг вскочил и своими твердыми, фронтовыми, аршинными шагами пошел к нему навстречу. Одет был Митя прилично, в застегнутом сюртуке, с круглой шляпой в руках и в черных перчатках, точь-в-точь как был три дня тому назад в монастыре, у старца, на семейном свидании с Федором Павловичем и с братьями. Старик важно и строго ожидал его стоя, и Митя разом почувствовал, что, пока он подходил, тот его всего рассмотрел. Поразило тоже Митю чрезвычайно опухшее за последнее время лицо Кузьмы Кузьмича: нижняя и без того толстая губа его казалась теперь какою-то отвисшею лепешкой. Важно и молча поклонился он гостю, указал ему на кресла подле дивана, а сам медленно, опираясь на руку сына и болезненно кряхтя, стал усаживаться напротив Мити на диван, так что тот, видя болезненные усилия его, немедленно почувствовал в сердце своем

раскаяние и деликатный стыд за свое теперешнее ничтожество пред столь важным им обеспокоенным лицом.



– Что вам, сударь, от меня угодно? – проговорил, усевшись наконец, старик медленно, раздельно, но вежливо.

Митя вздрогнул, вскочил было, но сел опять. Затем тотчас же стал говорить громко, быстро, нервно, с жестами и в решительном исступлении. Видно было, что человек дошел до черты, погиб и ищет последнего выхода, а не удастся, то хоть сейчас и в воду. Все это в один

миг, вероятно, понял старик Самсонов, хотя лицо его оставалось неизменным и холодным, как у истукана.

«Благороднейший Кузьма Кузьмич, вероятно, слышал уже не раз о моих контрах с отцом моим, Федором Павловичем, ограбившим меня по наследству после родной моей матери... так как весь город уже трещит об этом... потому что здесь все трещат о том, чего не надо... А кроме того, могло дойти и от Грушеньки... виноват: от Аграфены Александровны... от многоуважаемой и многочтимой мною Аграфены Александровны...» – так начал и оборвался с первого слова Митя. Но мы не будем приводить дословно всю его речь, а представим лишь изложение. Дело, дескать, заключается в том, что он, Митя, еще три месяца назад, нарочито советовался (он именно проговорил «нарочито», а не нарочно) с адвокатом в губернском городе, «со знаменитым адвокатом, Кузьма Кузьмич, Павлом Павловичем Корнеплодовым, изволили, вероятно, слышать? Лоб обширный, почти государственный ум... вас тоже знает... отзывался в лучшем виде...» – оборвался в другой раз Митя. Но обрывы его не останавливали, он тотчас же через них перескакивал и устремлялся все далее и далее. Этот-де самый Корнеплодов, опросив подробно и рассмотрев документы, какие Митя мог представить ему (о документах Митя выразился неясно и особенно спеша в этом месте), отнесся, что насчет деревни Чермашни, которая должна бы, дескать, была принадлежать ему, Мите, по матери, действительно, можно бы было начать иск и тем старика-безобразника огорошить... «потому что не все же двери заперты, а юстиция уж знает, куда пролезть». Одним словом, можно бы было надеяться даже-де тысяч на шесть додачи от Федора Павловича, на семь даже, так как Чермашня все же стоит не менее двадцати пяти тысяч, то есть наверно двадцати восьми, – «тридцати, тридцати, Кузьма Кузьмич, а я, представьте себе, и семнадцати от этого жестокого человека не выбрал!...» Так вот я, дескать, Митя, тогда это дело бросил, ибо не умею с юстицией, а, приехав сюда, поставлен был в столбняк встречным иском (здесь Митя опять запутался и опять круто перескочил): так вот, дескать, не пожелаете ли вы, благороднейший Кузьма Кузьмич, взять все права мои на этого изверга, а сами мне дайте только три тысячи... Вы ни в каком случае проиграть ведь не можете, в этом честию, честию клянусь, а совсем напротив, можете нажить тысяч шесть или семь, вместо трех... А главное дело, чтоб это кончить «даже сегодня же». «Я там вам у нотариуса, что ли, или как там... Одним словом, я готов на все, выдам все документы, какие потребуете, все подпишу... и мы эту бумагу сейчас же и совершили бы, и если бы можно, если бы только можно, то сегодня же бы утром... Вы бы мне эти три тысячи выдали... так как кто же против вас капиталист в этом городишке... и тем спасли бы меня от... одним словом, спасли бы мою бедную голову для благороднейшего дела, для возвышеннейшего дела, можно сказать... ибо питаю благороднейшие чувства к известной особе, которую слишком знаете и о которой печетесь отечески. Иначе бы и не пришел, если бы не отечески. И, если хотите, тут трое состукнулись лбами, ибо судьба – это страшилище, Кузьма Кузьмич! Реализм, Кузьма Кузьмич, реализм! А так как вас давно уже надо исключить, то останутся два лба, как я выразился, может быть не ловко, но я не литератор. То есть один лоб мой, а другой – этого изверга. Итак, выбирайте: или я, или изверг? Все теперь в ваших руках – три судьбы и два жребия... Извините, я сбился, но вы понимаете... я вижу по вашим почтенным глазам, что вы поняли... А если не поняли, то сегодня же в воду, вот!»

Митя оборвал свою нелепую речь этим «вот» и, вскочив с места, ждал ответа на свое глупое предложение. С последнею фразою он вдруг и безнадежно почувствовал, что все лопнуло, а главное, что он нагородил страшной ахинеи. «Странное дело, пока шел сюда, все казалось хорошо, а теперь вот и ахинея!» – вдруг пронеслось в его безнадежной голове. Все время, пока он говорил, старик сидел неподвижно и с ледяным выражением во взоре следил за ним. Выдержав его, однако, с минутку в ожидании, Кузьма Кузьмич изрек наконец самым решительным и безотрадным тоном:

– Извините-с, мы такими делами не занимаемся.

Митя вдруг почувствовал, что под ним слабеют ноги.

– Как же я теперь, Кузьма Кузьмич, – пробормотал он, бледно улыбаясь. – Ведь я теперь пропал, как вы думаете?

– Извините-с...

Митя все стоял и все смотрел неподвижно в упор, и вдруг заметил, что что-то двинулось в лице старика. Он вздрогнул.

– Видите, сударь, нам такие дела несподручны, – медленно промолвил старик, – суды пойдут, адвокаты, сушая беда! А если хотите, тут есть один человек, вот к нему обратитесь...

– Боже мой, кто же это!.. Вы воскрешаете меня, Кузьма Кузьмич, – залепетал вдруг Митя.

– Не здешний он, этот человек, да и здесь его теперь не находится. Он по крестьянству, лесом торгует, прозвищем Лягавый. У Федора Павловича вот уже год как торгует в Чермашне этой вашей рошу, да за ценой расходятся, может, слышали. Теперь он как раз приехал опять и стоит теперь у батюшки Ильинского, от Воловьей станции верст двенадцать что ли будет, в селе Ильинском. Писал он сюда и ко мне по этому делу, то есть насчет этой роши, совета просил. Федор Павлович к нему сам хочет ехать. Так если бы вы Федора Павловича предупредили, да Лягавому предложили вот то самое, что мне говорили, то он, может статься...

– Гениальная мысль! – восторженно перебил Митя. – Именно он, именно ему в руку! Он торгует, с него дорого просят, а тут ему именно документ на самое владение, ха-ха-ха! – И Митя вдруг захохотал своим коротким деревянным смехом, совсем неожиданным, так что даже Самсонов вздрогнул головой.

– Как благодарить мне вас, Кузьма Кузьмич, – кипел Митя.

– Ничего-с, – склонил голову Самсонов.

– Но вы не знаете, вы спасли меня, о, меня влекло к вам предчувствие... Итак, к этому попу!

– Не стоит благодарности-с.

– Спешу и лечу. Злоупотребил вашим здоровьем. Век не забуду, русский человек говорит вам это, Кузьма Кузьмич, р-русский человек!

– Тэ-экс.

Митя схватил было старика за руку, чтобы потрясть ее, но что-то злобное промелькнуло в глазах того. Митя отнял руку, но тотчас же упрекнул себя во мнительности. «Это он устал...» – мелькнуло в уме его.

– Для нее! Для нее, Кузьма Кузьмич! Вы понимаете, что это для нее! – рявкнул он вдруг на всю залу, поклонился, круто повернулся и теми же скорыми, аршинными шагами, не оборачиваясь, устремился к выходу. Он трепетал от восторга. «Все ведь уж погибало, и вот ангел-хранитель спас, – неслось в уме его. – И уж если такой делец, как этот старик (благороднейший старик, и какая осанка!) указал этот путь, то... то уж, конечно, выигран путь. Сейчас и лететь. До ночи вернусь, ночью вернусь, но дело побеждено. Неужели же старик мог надо мной насмеяться?» – так восклицал Митя, шагая в свою квартиру, и уж, конечно, иначе и не могло представляться уму его, то есть: или дельный совет (от такого-то дельца) – со знанием дела, со знанием этого Лягавого (странная фамилия!) или – или старик над ним посмеялся! Увы! последняя-то мысль и была единственно верною. Потом, уже долго спустя, когда уже совершилась вся катастрофа, старик Самсонов сам сознавался, смеясь, что тогда осмеял «капитана». Это был злобный, холодный и насмешливый человек, к тому же с болезненными антипатиями. Восторженный ли вид капитана, глупое ли убеждение этого «мота и расточителя», что он, Самсонов, может поддаться на такую дичь, как его «план», ревнивое ли чувство насчет Грушеньки, во имя которой «этот сорванец» пришел к нему с какою-то дичью за деньгами, – не знаю, что именно побудило тогда старика, но в ту минуту, когда Митя стоял пред ним, чувствуя, что слабеют его ноги, и бессмысленно восклицал, что он пропал, – в ту минуту старик посмотрел на него с бесконечною злобою и придумал над ним посмеяться. Когда Митя вышел, Кузьма

Кузьмич, бледный от злобы, обратился к сыну и велел распорядиться, чтобы впредь этого обормотца и духу не было, и на двор не впускать, не то...

Он не договорил того, чем угрожал, но даже сын, часто выдавший его во гневе, вздрогнул от страха. Целый час спустя старик даже весь трясся от злобы, а к вечеру заболел и послал за «лекарем».

## II Лягавый

Итак, надо было «скакать», а денег на лошадей все-таки не было ни копейки, то есть были два двугривенных, и это все, все, что оставалось от стольких лет прежнего благосостояния!

Но у него лежали дома старые серебряные часы, давно уже переставшие ходить. Он схватил их и снес к еврей-часовщику, помещавшемуся в своей лавчонке на базаре. Тот дал за них шесть рублей. «И того не ожидал!» – вскричал восхищенный Митя (он все продолжал быть в восхищении), схватил свои шесть рублей и побежал домой. Дома он дополнил сумму, взяв займы три рубля от хозяев, которые дали ему с удовольствием, несмотря на то, что отдавали последние свои деньги, до того любили его. Митя в восторженном состоянии своем открыл им тут же, что решается судьба его, и рассказал им, ужасно спеша, разумеется, почти весь свой «план», который только что представил Самсонову, затем решение Самсонова, будущие надежды свои и проч., и проч. Хозяева и допрежь сего были посвящены во многие его тайны, потому-то и смотрели на него, как на *своего* человека, совсем не гордого барина. Совокупив таким образом девять рублей, Митя послал за почтовыми лошадьми до Волосьей станции. Но таким образом запомнился и обозначился факт, что «накануне некоторого события, в полдень, у Мити не было ни копейки и что он, чтобы достать денег, продал часы и занял три рубля у хозяев, и все при свидетелях».

Отмечаю этот факт заранее, потом разъяснится, для чего так делаю.

Поскакав на Волосью станцию, Митя хоть и сиял от радостного предчувствия, что наконец-то кончит и развяжет «все эти дела», тем не менее трепетал и от страху: что станет теперь с Грушенькой в его отсутствие? Ну как раз сегодня-то и решится наконец пойти к Федору Павловичу? Вот почему он и уехал, ей не сказавшись и заказав хозяевам отнюдь не открывать, куда он делся, если откуда-нибудь придут его спрашивать. «Непременно, непременно сегодня к вечеру надо вернуться, – повторял он, трясясь в телеге, – а этого Лягавого, пожалуй, и сюда притащить... для совершения этого акта...» – так, замирая душою, мечтал Митя, но увы, мечтаниям его слишком не суждено было совершиться по его «плану».

Во-первых, он опоздал, отправившись с Волосьей станции проселком. Проселок оказался не в двенадцать, а в восемнадцать верст. Во-вторых, Ильинского «батюшки» он не застал дома, тот отлучился в соседнюю деревню. Пока разыскал там его Митя, отправившись в эту соседнюю деревню все на тех же, уже измученных лошадях, наступила почти уже ночь. «Батюшка», робкий и ласковый на вид человек, разъяснил ему немедленно, что этот Лягавый, хоть и остановился было у него спервоначалу, но теперь находится в Сухом Поселке, там у лесного сторожа в избе сегодня ночует, потому что и там тоже лес торгует. На усиленные просьбы Мити сводить его к Лягавому сейчас же и «тем, так сказать, спасти его», батюшка хоть и заколебался вначале, но согласился, однако, проводить его в Сухой Поселок, видимо почувствовав любопытство; но на грех посоветовал дойти «пешечком», так как тут всего какая-нибудь верста «с небольшим излишком будет». Митя, разумеется, согласился и зашагал своими аршинными шагами, так что бедный батюшка почти бежал за ним.

Это был еще не старый и очень осторожный человек. Митя и с ним тотчас заговорил о своих планах, горячо, нервно требовал советов насчет Лягавого и проговорил всю дорогу. Батюшка слушал внимательно, но посоветовал мало. На вопросы Мити отвечал уклончиво: «не

знаю, ох, не знаю, где же мне это знать» и т. д. Когда Митя заговорил о своих контрах с отцом насчет наследства, то батюшка даже испугался, потому что состоял с Федором Павловичем в каких-то зависимых к нему отношениях. С удивлением, впрочем, осведомился, почему он называет этого торгующего крестьянина Горсткина Лягавым, и разъяснил обязательно Мите, что тот хоть и впрямь Лягавый, но что он и не Лягавый, потому что именем этим жестоко обижается, и что называть его надо непременно Горстковым, «иначе ничего с ним не совершите, да и слушать не станет», – заключил батюшка. Митя несколько и наскоро удивился и объяснил, что так называл его сам Самсонов. Услышав про это обстоятельство, батюшка тотчас же этот разговор замял, хотя и хорошо бы сделал, если бы разъяснил тогда же Дмитрию Федоровичу догадку свою: что если сам Самсонов послал его к этому мужичку, как к Лягавому, то не сделал ли сего почему-либо на смех и что нет ли чего тут неладного? Но Мите некогда было останавливаться «на таких мелочах». Он спешил, шагал, и только придя в Сухой Поселок догадался, что прошли они не версту и не полторы, а наверное три; это его раздосадовало, но он стерпел. Вошли в избу. Лесник, знакомый батюшки, помещался в одной половине избы, а в другой, чистой половине, через сени, расположился Горсткин. Вошли в эту чистую избу и засветили сальную свечку. Изба была сильно натоплена. На сосновом столе стоял потухший самовар, тут же поднос с чашками, допитая бутылка рому, не совсем допитый штоф водки и объедки пшеничного хлеба. Сам же приезжий лежал протянувшись на скамье, со скомканною верхнею одежкой под головами вместо подушки, и грузно храпел. Митя стал в недоумении. «Конечно, надо будить: мое дело слишком важное, я так спешил, я спешу сегодня же воротиться», – затревожился Митя; но батюшка и сторож стояли молча, не высказывая своего мнения. Митя подошел и принялся будить сам, принялся энергично, но спящий не пробуждался. «Он пьян, – решил Митя, – но что же мне делать, Господи, что же мне делать!» И вдруг в страшном нетерпении принялся дергать спящего за руки, за ноги, раскачивать его за голову, приподымать и садить на лавку, и все-таки после весьма долгих усилий добился лишь того, что тот начал нелепо мычать и крепко, хотя и неясно выговаривая, ругаться.

– Нет, уж вы лучше повремените, – изрек наконец батюшка, – потому он, видимо, не в состоянии.

– Весь день пил, – отозвался сторож.

– Боже! – вскрикивал Митя, – если бы вы только знали, как мне необходимо и в каком я теперь отчаянии!

– Нет, уж лучше бы вам повременить до утра, – повторил батюшка.

– До утра? Помилосердуйте, это невозможно! – И в отчаянии он чуть было опять не бросился будить пьяницу, но тотчас оставил, поняв всю бесполезность усилий. Батюшка молчал, заспанный сторож был мрачен.

– Какие страшные трагедии устраивает с людьми реализм! – проговорил Митя в совершенном отчаянии. Пот лился с его лица. Воспользовавшись минутой, батюшка весьма резонно изложил, что хотя бы и удалось разбудить спящего, но, будучи пьяным, он все же не способен ни к какому разговору, «а у вас дело важное, так уж вернее бы оставить до утра...» Митя развел руками и согласился.

– Я, батюшка, останусь здесь со свечой и буду ловить мгновение. Пробудится, и тогда я начну... За свечку я тебе заплачу, – обратился он к сторожу, – за постой тоже, будешь помнить Дмитрия Карамазова. Вот только с вами, батюшка, не знаю теперь, как быть: где же вы ляжете?

– Нет, я уж к себе-с. Я вот на его кобылке и доеду, – показал он на сторожа. – За сим прощайте-с, желаю вам полное удовольствие получить.

Так и порешили. Батюшка отправился на кобылке, обрадованный, что наконец отвязался, но все же смятенно покачивая головой и раздумывая: не надо ли будет завтра заблаговременно уведомить о сем любопытном случае благодетеля Федора Павловича, «а то, неровен час, узнает, осердится и милости прекратит». Сторож, почесавшись, молча отправился в свою

избу, а Митя сел на лавку ловить, как он выразился, мгновение. Глубокая тоска облегла, как тяжелый туман, его душу. Глубокая, страшная тоска! Он сидел, думал, но обдумать ничего не мог. Свечка нагорала, затрещал сверчок, в натопленной комнате становилось нестерпимо душно. Ему вдруг представился сад, ход за садом, у отца в доме таинственно отворяется дверь, а в дверь пробегает Грушенька... Он вскочил с лавки.

– Трагедия! – проговорил он, скрежеща зубами, машинально подошел к спящему и стал смотреть на его лицо. Это был сухопарый, еще не старый мужик, с весьма продолговатым лицом, в русых кудрях и с длинною тоненькою рыжеватою бородкой, в ситцевой рубахе и в черном жилете, из кармана которого выглядывала цепочка от серебряных часов. Митя рассматривал эту физиономию со страшною ненавистью, и ему почему-то особенно ненавистно было, что он в кудрях. Главное, то было нестерпимо обидно, что вот он, Митя, стоит над ним со своим неотложным делом, столько пожертвовав, столько бросив, весь измученный, а этот тунеядец, «от которого зависит теперь вся судьба моя, храпит как ни в чем не бывало, точно с другой планеты». «О, ирония судьбы!» – воскликнул Митя и вдруг, совсем потеряв голову, бросился опять будить пьяного мужика. Он будил его с каким-то остервенением, рвал его, толкал, даже бил, но, провозившись минут пять и опять ничего не добившись, в бессильном отчаянии воротился на свою лавку и сел.

– Глупо, глупо! – восклицал Митя, – и... как это все бесчестно! – прибавил он вдруг почему-то. У него страшно начала болеть голова: «Бросить разве? Уехать совсем», – мелькнуло в уме его. «Нет уж, до утра. Вот нарочно же останусь, нарочно! Зачем же я и приехал после того? Да и уехать не на чем, как теперь отсюда уедешь, о, бессмыслица!»

Голова его, однако, разбалчивалась все больше и больше. Неподвижно сидел он и уже не понимал, как задремал и вдруг сидя заснул. По-видимому он спал часа два или больше. Очнулся же от нестерпимой головной боли, нестерпимой до крику. В висках его стучало, темя болело; очнувшись, он долго еще не мог войти в себя совершенно и осмыслить, что с ним такое произошло. Наконец-то догадался, что в натопленной комнате страшный угар и что он, может быть, мог умереть. А пьяный мужик все лежал и храпел; свечка оплыла и готова была погаснуть. Митя закричал и бросился, шатаясь, через сени в избу сторожа. Тот скоро проснулся, но услышав, что в другой избе угар, хотя и пошел распорядиться, но принял факт до странности равнодушно, что обидно удивило Митю.

– Но он умер, он умер, и тогда... что тогда? – восклицал пред ним в иступлении Митя.

Двери растворили, отворили окно, открыли трубу, Митя притащил из сеней ведро с водой, сперва намочил голову себе, а затем, найдя какую-то тряпку, окунул ее в воду и приложил к голове Лягавого. Сторож же продолжал относиться ко всему событию как-то даже презрительно и, отворив окно, произнес угрюмо: «Ладно и так», и пошел опять спать, оставив Мите зажженный железный фонарь. Митя провозился с угоревшим пьяницей с полчаса, все намачивая ему голову, и серьезно уже намеревался не спать всю ночь, но, измучившись, присел как-то на одну минутку, чтобы перевести дух, и мгновенно закрыл глаза, затем тотчас же бессознательно протянулся на лавке и заснул как убитый.

Проснулся он ужасно поздно. Было примерно уже часов девять утра. Солнце ярко сияло в два оконца избышки. Вчерашний кудрявый мужик сидел на лавке, уже одетый в поддевку. Пред ним стоял новый самовар и новый штоф.

Старый, вчерашний, был уже допит, а новый опорожнен более чем на половину. Митя вскочил и мигом догадался, что проклятый мужик пьян опять, пьян глубоко и невозвратно. Он глядел на него с минуту, выпучив глаза. Мужик же поглядывал на него молча и лукаво, с каким-то обидным спокойствием, даже с презрительным каким-то высокомерием, как показалось Мите. Он бросился к нему.

– Позвольте, видите... я... вы, вероятно, слышали от здешнего сторожа в той избе: я поручик Дмитрий Карамазов, сын старика Карамазова, у которого вы изволите рощу торговать...

– Это ты врешь! – вдруг твердо и спокойно отчеканил мужик.

– Как вру? Федора Павловича изволите знать?

– Никакого твоего Федора Павловича не изволю знать, – как-то грузно ворочая языком, проговорил мужик.

– Рощу, рощу вы у него торгуете; да проснитесь, опомнитесь. Отец Павел Ильинский меня проводил сюда... Вы к Самсонову писали, и он меня к вам прислал... – задыхался Митя.

– В-врешь! – отчеканил опять Лягавый. У Мити похолодели ноги.

– Помилосердуйте, ведь это не шутка! Вы, может быть, хмельны. Вы можете же, наконец, говорить, понимать... иначе... иначе я ничего не понимаю!

– Ты красильщик!

– Помилосердуйте, я Карамазов, Дмитрий Карамазов, имею к вам предложение... выгодное предложение... весьма выгодное... именно по поводу рощи.

Мужик важно поглаживал бороду.

– Нет, ты подряд снимал и подлец вышел. Ты подлец!

– Уверяю же вас, что вы ошибаетесь! – в отчаянии ломал руки Митя. Мужик все гладил бороду и вдруг лукаво прищурил глаза.

– Нет, ты мне вот что укажи: укажи ты мне такой закон, чтобы позволено было пакости строить, слышишь ты! Ты подлец, понимаешь ты это?

Митя мрачно отступил и вдруг его как бы «что-то ударило по лбу», как он сам потом выразился. В один миг произошло какое-то озарение в уме его, «загорелся светоч, и я все постиг». В остолбенении стоял он, недоумевая, как мог он, человек все же умный, поддаться на такую глупость, втюриться в этакое приключение и продолжать все это почти целые сутки, возиться с этим Лягавым, мочить ему голову... «Ну, пьян человек, пьян до чертиков и будет пить запоем еще неделю – чего же тут ждать? А что, если Самсонов меня нарочно прислал сюда? А что, если она... О боже, что я наделал!...»

Мужик сидел, глядел на него и посмеивался. Будь другой случай, и Митя, может быть, убил бы этого дурака со злости, но теперь он весь сам ослабел, как ребенок. Тихо подошел он к лавке, взял свое пальто, молча надел его и вышел из избы. В другой избе сторожа он не нашел, никого не было. Он вынул из кармана мелочью пятьдесят копеек и положил на стол, за ночлег, за свечку и за беспокойство. Выйдя из избы, он увидел, что кругом только лес и ничего больше. Он пошел наугад, даже не помня куда поворотить из избы – направо или налево; вчера ночью, спеша сюда с батюшкой, он дороги не заметил. Никакой мести ни к кому не было в душе его, даже к Самсонову. Он шагал по узенькой лесной дорожке бессмысленно, потерянно, с «потерянной идеей» и совсем не заботясь о том, куда идет. Его мог побороть встречный ребенок, до того он вдруг обессилел душой и телом. Кое-как он, однако, из лесу выбрался: предстали вдруг сжатые обнаженные поля на необозримом пространстве: «Какое отчаяние, какая смерть кругом!» – повторял он, все шагая вперед и вперед.

Его спасли проезжие: извозчик вез по проселку какого-то старичка-купца. Когда поровнялись, Митя спросил про дорогу, и оказалось, что те тоже едут на Воловью. Вступили в переговоры и посадили Митю попутчиком. Часа через три доехали. На Воловьевой станции Митя тотчас же заказал почтовых в город, а сам вдруг догадался, что до невозможности голоден. Пока впрягали лошадей, ему смастерили яичницу. Он мигом съел ее всю, съел весь большой ломоть хлеба, съел нашедшуюся колбасу и выпил три рюмки водки. Подкрепившись, он ободрился, и на душе его опять прояснело. Он летел по дороге, погонял ямщика и вдруг составил новый и уже «непреложный» план, как достать еще сегодня же до вечера «эти проклятые деньги». «И подумать, только подумать, что из-за этих ничтожных трех тысяч пропадает судьба чело-

веческая!» – воскликнул он презрительно. «Сегодня же порешу!» И если бы только не беспрерывная мысль о Грушеньке и о том, не случилось ли с ней чего, то он стал бы, может быть, опять совсем весел. Но мысль о ней вонзалась в его душу поминутно, как острый нож. Наконец приехали, и Митя тотчас же побежал к Грушеньке.

### III Золотые прииски

Это было именно то посещение Мити, про которое Грушенька с таким страхом рассказывала Ракитину. Она тогда ожидала своей «эстафеты» и очень рада была, что Митя ни вчера, ни сегодня не приходил, надеялась, что, авось Бог даст, не придет до ее отъезда, а он вдруг и нагрянул. Дальнейшее нам известно: чтобы сбыть его с рук, она мигом уговорила его проводить ее к Кузьме Самсонову, куда будто бы ей ужасно надо было идти «деньги считать», и когда Митя ее тотчас же проводил, то, прощаясь с ним у ворот Кузьмы, взяла с него обещание прийти за нею в двенадцатом часу, чтобы проводить ее обратно домой. Митя этому распоряжению тоже был рад: «Просидит у Кузьмы, значит, не пойдет к Федору Павловичу... если только не лжет», – прибавил он тотчас же. Но на его глаз, кажется, не лгала. Он был именно такого свойства ревнивец, что в разлуке с любимой женщиной тотчас же навывдумывал бог знает каких ужасов о том, что с нею делается и как она ему там «изменяет», но, прибежав к ней опять, потрясенный, убитый, уверенный уже безвозвратно, что она успела-таки ему изменить, с первого же взгляда на ее лицо, на смеющееся, веселое и ласковое лицо этой женщины – тотчас же возрождался духом, тотчас же терял всякое подозрение и с радостным стыдом бранил себя сам за ревность. Проводив Грушеньку, он бросился к себе домой. О, ему столько еще надо было успеть сегодня сделать! Но по крайней мере от сердца отлегло.

«Вот только надо бы поскорее узнать от Смердякова, не было ли чего там вчера вечером, не приходила ли она, чего доброго, к Федору Павловичу, ух!» – пронеслось в его голове. Так что не успел он еще добежать к себе на квартиру, как ревность уже опять закопошилась в неутомном сердце его.

Ревность! «Отелло не ревнив, он доверчив», – заметил Пушкин, и уже одно это замечание свидетельствует о необычайной глубине ума нашего великого поэта. У Отелло просто невозможна душа и помутилось все мировоззрение его, потому что *погиб его идеал*. Но Отелло не станет прятаться, шпионить, подглядывать: он доверчив. Напротив, его надо было наводить, наталкивать, разжигать с чрезвычайными усилиями, чтоб он только догадался об измене. Не таков истинный ревнивец. Невозможно даже представить себе всего позора и нравственного падения, с которыми способен ужиться ревнивец безо всяких угрызений совести. И ведь не то чтоб это были все пошлые и грязные души. Напротив, с сердцем высоким, с любовью чистой, полною самопожертвования, можно в то же время прятаться под столы, подкупать подлеjších людей и уживаться с самою скверною грязью шпионства и подслушивания. Отелло не мог бы ни за что примириться с изменой, – не простить не мог бы, а примириться, – хотя душа его незлобива и невинна, как душа младенца. Не то с настоящим ревнивцем: трудно представить себе, с чем может ужиться и примириться и что может простить иной ревнивец! Ревнивцы-то скорее всех и прощают, и это знают все женщины. Ревнивец чрезвычайно скоро (разумеется, после страшной сцены вначале) может и способен простить, например, уже доказанную почти измену, уже виденные им самим объятия и поцелуи, если бы, например, он в то же время мог как-нибудь увериться, что это было «в последний раз» и что соперник его с этого часа уже исчезнет, уедет на край земли, или что сам он увезет ее куда-нибудь в такое место, куда уж больше не придет этот страшный соперник. Разумеется, примирение произойдет лишь на час, потому что если бы даже и в самом деле исчез соперник, то завтра же он изобретет другого,

нового и приревнует к новому. И казалось бы, что в той любви, за которую надо так подсматривать, и чего стоит любовь, которую надобно столь усиленно сторожить?

Но вот этого-то никогда и не поймет настоящий ревнивец, а между тем между ними, право, случаются люди даже с сердцами высокими. Замечательно еще то, что эти самые люди с высокими сердцами, стоя в какой-нибудь каморке, подслушивая и шпионя, хоть и понимают ясно «высокими сердцами своими» весь срам, в который они сами добровольно залезли, но, однако, в ту минуту, по крайней мере пока стоят в этой каморке, никогда не чувствуют угрызений совести. У Мити при виде Грушеньки пропадала ревность, и на мгновение он становился доверчив и благороден, даже сам презирал себя за дурные чувства. Но это значило только, что в любви его к этой женщине заключалось нечто гораздо высшее, чем он сам предполагал, а не одна лишь страстность, не один лишь «изгиб тела», о котором он толковал Алеше. Но зато, когда исчезала Грушенька, Митя тотчас же начинал опять подозревать в ней все низости и коварства измены. Угрызений же совести никаких при этом не чувствовал.

Итак, ревность закипела в нем снова. Во всяком случае надо было спешить. Первым делом надо было достать хоть капельку денег на перехватку. Вчерашние девять рублей почти все ушли на проезд, а совсем без денег, известно, никуда шагу ступить нельзя. Но он вместе с новым планом своим обдумал, где достать и на перехватку еще давеча на телеге. У него была пара хороших дуэльных пистолетов с патронами, и если до сих пор он ее не заложил, то потому, что любил эту вещь больше всего, что имел. В трактире «Столичный город» он уже давно слегка познакомился с одним молодым чиновником и как-то узнал в трактире же, что этот холостой и весьма достаточный чиновник до страсти любит оружие, покупает пистолеты, револьверы, кинжалы, развешивает у себя по стенам, показывает знакомым, хвалится, мастер растолковать систему револьвера, как его зарядить, как выстрелить и проч. Долго не думая, Митя тотчас к нему отправился и предложил ему взять в заклад пистолеты за десять рублей. Чиновник с радостью стал уговаривать его совсем продать, но Митя не согласился, и тот выдал ему десять рублей, заявив, что процентов не возьмет ни за что. Расстались приятелями. Митя спешил, он устремился к Федору Павловичу на зады, в свою беседку, чтобы вызвать поскорее Смердякова. Но таким образом опять получился факт, что всего за три, за четыре часа до некоторого приключения, о котором будет мною говорено ниже, у Мити не было ни копейки денег, и он за десять рублей заложил любимую вещь, тогда как вдруг, через три часа, оказались в руках его тысячи... Но я забегаю вперед.

У Марьи Кондратьевны (соседки Федора Павловича) его ожидало чрезвычайно поразившее и смутившее его известие о болезни Смердякова. Он выслушал историю о падении в погреб, затем о падучей, приезде доктора, заботах Федора Павловича; с любопытством узнал и о том, что брат Иван Федорович уже укатил давеча утром в Москву. «Должно быть, раньше меня проехал через Воловью, – подумал Дмитрий Федорович, но Смердяков его беспокоил ужасно: – Как же теперь, кто сторожить будет, кто мне передаст?» С жадностью начал он спрашивать этих женщин, не заметили ли они чего вчера вечером? Те очень хорошо понимали, о чем он разузнает, и разуверили его вполне: никого не было, ночевал Иван Федорович, «все было в совершенном порядке». Митя задумался. Без сомнения, надо и сегодня караулить, но где: здесь или у ворот Самсонова? Он решил, что и здесь и там, все по усмотрению, а пока, пока... Дело в том, что теперь стоял пред ним этот «план», давешний, новый и уже верный план, выдуманный им на телеге, и откладывать исполнение которого было уже невозможно. Митя решил пожертвовать на это час: «В час все порешу, все узнаю, и тогда, тогда, во-первых, в дом к Самсонову, справлюсь, там ли Грушенька, и мигом обратно сюда, и до одиннадцати часов здесь, а потом опять за ней к Самсонову, чтобы проводить ее обратно домой». Вот как он решил.

Он полетел домой, умылся, причесался, вычистил платье, оделся и отправился к госпоже Хохлаковой. Увы, «план» его был тут. Он решился занять три тысячи у этой дамы. И главное,

у него вдруг, как-то внезапно, явилась необыкновенная уверенность, что она ему не откажет. Может быть, подивятся тому, что если была такая уверенность, то почему же он заранее не пошел сюда, так сказать, в свое общество, а направился к Самсонову, человеку склада чужого, с которым он даже и не знал, как говорить. Но дело в том, что с Хохлаковой он в последний месяц совсем почти разнакомился, да и прежде знаком был мало, и сверх того, очень знал, что и сама она его терпеть не может. Эта дама возненавидела его с самого начала просто за то, что он жених Катерины Ивановны, тогда как ей почему-то вдруг захотелось, чтобы Катерина Ивановна его бросила и вышла замуж за «милого, рыцарски образованного Ивана Федоровича, у которого такие прекрасные манеры». Манеры же Мити она ненавидела. Митя даже смеялся над ней и раз как-то выразился про нее, что эта дама «настолько жива и развязна, насколько необразованна». И вот давеча утром, на телеге, его озарила самая яркая мысль: «Да если уж она так не хочет, чтоб я женился на Катерине Ивановне, и не хочет до такой степени (он знал, что почти до истерики), то почему бы ей отказать мне теперь в этих трех тысячах, именно для того, чтоб я на эти деньги мог, оставив Катю, укатить навеки отсюда? Эти избалованные высшие дамы, если уж захотят чего до капризу, то уж ничего не щадят, чтобы вышло по-ихнему. Она же к тому так богата», – рассуждал Митя. Что же касается собственно до «плана», то было все то же самое, что и прежде, то есть предложение прав своих на Чермашню, но уже не с коммерческой целью, как вчера Самсонову, не прельщая эту даму, как вчера Самсонова, возможностью стяпать вместо трех тысяч куш вдвое, тысяч в шесть или семь, а просто как благородную гарантию за долг. Развивая эту новую свою мысль, Митя доходил до восторга, но так с ним и всегда случалось при всех его начинаниях, при всех его внезапных решениях. Всякой новой мысли своей он отдавался до страсти. Тем не менее, когда ступил на крыльцо дома госпожи Хохлаковой, вдруг почувствовал на спине своей озноб ужаса: в эту только секунду он сознал вполне и уже математически ясно, что тут ведь последняя уже надежда его, что дальше уже ничего не остается в мире, если тут оборвется, «разве зарезать и ограбить кого-нибудь из-за трех тысяч, а более ничего...» Было часов семь с половиною, когда он позвонил в колокольчик.

Сначала дело как бы улыбнулось: только что он доложил, его тотчас же приняли с необыкновенною быстротой. «Точно ведь ждала меня», – мелькнуло в уме Мити, а затем вдруг, только что ввели его в гостиную, почти вбежала хозяйка и прямо объявила ему, что ждала его...

– Ждала, ждала! Ведь я не могла даже и думать, что вы ко мне придете, согласитесь сами, и однако я вас ждала, подивитесь моему инстинкту, Дмитрий Федорович, я все утро была уверена, что вы сегодня придете.

– Это действительно, сударыня, удивительно, – произнес Митя, мешковато усаживаясь, – но... я пришел по чрезвычайно важному делу... наиважнейшему из важнейших, для меня то есть, сударыня, для меня одного, и спешу...

– Знаю, что по наиважнейшему делу, Дмитрий Федорович, тут не предчувствия какие-нибудь, не ретроградные поползновения на чудеса (слышали про старца Зосиму?), тут, тут математика: вы не могли не прийти, после того как произошло все это с Катериной Ивановной, вы не могли, не могли; это математика.

– Реализм действительной жизни, сударыня, вот что это такое! Но позвольте, однако ж, изложить...

– Именно реализм, Дмитрий Федорович. Я теперь вся за реализм, я слишком проучена насчет чудес. Вы слышали, что помер старец Зосима?

– Нет, сударыня, в первый раз слышу, – удивился немного Митя. В уме его мелькнул образ Алеши.

– Сегодня в ночь, и представьте себе...

– Сударыня, – прервал Митя, – я представляю себе только то, что я в отчаяннейшем положении и что если вы мне не поможете, то все провалится, и я провалюсь первый. Простите за тривиальность выражения, но я в жару, я в горячке...

– Знаю, знаю, что вы в горячке, все знаю, вы и не можете быть в другом состоянии духа, и что бы вы ни сказали, я все знаю наперед. Я давно взяла вашу судьбу в соображение, Дмитрий Федорович, я слежу за нею и изучаю ее... О, поверьте, что я опытный душевный доктор, Дмитрий Федорович.

– Сударыня, если вы опытный доктор, то я зато опытный больной, – слюбезничал через силу Митя, – и предчувствую, что если вы уж так следите за судьбой моею, то и поможете ей в ее гибели, но для этого позвольте мне наконец изложить пред вами тот план, с которым я рискнул явиться... и то, чего от вас ожидаю... Я пришел, сударыня...

– Не излагайте, это второстепенность. А насчет помощи – я не первому вам помогаю, Дмитрий Федорович. Вы, вероятно, слышали о моей кузине Бельмесовой, ее муж погиб, провалился, как вы характерно выразились, Дмитрий Федорович, и что же, я указала ему на коннозаводство, и он теперь процветает. Вы имеете понятие о коннозаводстве, Дмитрий Федорович?

– Ни малейшего, сударыня, – ох, сударыня, ни малейшего! – вскричал в нервном нетерпении Митя и даже поднялся было с места. – Я только умоляю вас, сударыня, меня выслушать, дайте мне только две минуты свободного разговора, чтоб я мог сперва изложить вам все, весь проект, с которым пришел. К тому же мне нужно время, я ужасно спешу!.. – прокричал истерически Митя, почувствовав, что она сейчас опять начнет говорить, и в надежде перекричать ее. – Я пришел в отчаянии... в последней степени отчаяния, чтобы просить у вас займы денег три тысячи, займы, но под верный, под вернейший залог, сударыня, под вернейшее обеспечение! Позвольте только изложить...

– Это вы все потом, потом! – замахала на него рукой в свою очередь госпожа Хохлакова, – да и все, что бы вы ни сказали, я знаю все наперед, я уже говорила вам это. Вы просите какой-то суммы, вам нужны три тысячи, но я вам дам больше, безмерно больше, я вас спасу, Дмитрий Федорович, но надо, чтобы вы меня послушались!

Митя так и прянул опять с места.

– Сударыня, неужто вы так добры! – вскричал он с чрезвычайным чувством. – Господи, вы спасли меня. Вы спасаете человека, сударыня, от насильственной смерти, от пистолета... Вечная благодарность моя...

– Я вам дам бесконечно, бесконечно больше, чем три тысячи! – прокричала госпожа Хохлакова, с сияющей улыбкой смотря на восторг Мити.

– Бесконечно? Но столько и не надо. Необходимы только эти роковые для меня три тысячи, а я, со своей стороны, пришел гарантировать вам эту сумму с бесконечною благодарностью и предлагаю вам план, который...

– Довольно, Дмитрий Федорович, сказано и сделано, – отрезала госпожа Хохлакова с целомудренным торжеством благодетельницы. – Я обещала вас спасти и спасу. Я вас спасу, как и Бельмесова. Что думаете вы о золотых приисках, Дмитрий Федорович?

– О золотых приисках, сударыня! Я никогда ничего о них не думал.

– А зато я за вас думала! Думала и передумала! Я уже целый месяц слежу за вами с этою целью. Я сто раз смотрела на вас, когда вы проходили, и повторяла себе: вот энергический человек, которому надо на прииски. Я изучила даже походку вашу и решила: этот человек найдет много приисков.

– По походке, сударыня? – улыбнулся Митя.

– А что ж, и по походке. Что же, неужели вы отрицаете, что можно по походке узнавать характер, Дмитриий Федорович? Естественные науки подтверждают то же самое. О, я теперь реалистка, Дмитриий Федорович. Я с сегодняшнего дня, после всей этой истории в монастыре, которая меня так расстроила, совершенная реалистка и хочу броситься в практическую деятельность. Я излечена. Довольно! – как сказал Тургенев.

– Но, сударыня, эти три тысячи, которыми вы так великодушно меня обещали ссудить...

– Вас не минуют, Дмитрий Федорович, – тотчас же перерезала госпожа Хохлакова, – эти три тысячи все равно что у вас в кармане, и не три тысячи, а три миллиона, Дмитрий Федорович, в самое короткое время! Я вам скажу вашу идею: вы отыщете прииски, наживете миллионы, воротитесь и станете деятелем, будете и нас двигать, направляя к добру. Неужели же все предоставить жидам? Вы будете строить здания и разные предприятия. Вы будете помогать бедным, а те вас благословлять. Нынче век железных дорог, Дмитрий Федорович. Вы станете известны и необходимы министерству финансов, которое теперь так нуждается. Падение нашего кредитного рубля не дает мне спать, Дмитрий Федорович, с этой стороны меня мало знают...

– Сударыня, сударыня! – в каком-то беспокойном предчувствии прервал опять Дмитрий Федорович, – я весьма и весьма, может быть, последую вашему совету, – умному совету вашему, сударыня, – и отправлюсь, может быть, туда... на эти прииски... и еще раз приду к вам говорить об этом... даже много раз... но теперь эти три тысячи, которые вы так великодушно... О, они бы развязали меня, и если можно сегодня... То есть, видите ли, у меня теперь ни часу, ни часу времени...

– Довольно, Дмитрий Федорович, довольно! – настойчиво прервала госпожа Хохлакова. – Вопрос: едете вы на прииски или нет, решились ли вы вполне, отвечайте математически?



– Еду, сударыня, потом... Я поеду, куда хотите, сударыня... но теперь...

– Подождите же! – крикнула госпожа Хохлакова, вскочила и бросилась к своему великолепному бюро с бесчисленными ящичками и начала выдвигать один ящик за другим, что-то отыскивая и ужасно торопясь.

«Три тысячи! – подумал, замирая, Митя, – и это сейчас, безо всяких бумаг, без акта... о, это по-джентльменски! Великолепная женщина, и если бы только не так разговорчива...»

– Вот! – вскрикнула в радости госпожа Хохлакова, возвращаясь к Мите, – вот что я искала!

Это был крошечный серебряный образок на шнурке, из тех, какие носят иногда вместе с нательным крестом.

– Это из Киева, Дмитрий Федорович, – с благоговением продолжала она, – от мощей Варвары великомученицы. Позвольте мне самой вам надеть на шею и тем благословить вас на новую жизнь и на новые подвиги.

И она действительно накинула ему образок на шею и стала было вправлять его. Митя в большом смущении принагнулся и стал ей помогать и наконец вправил себе образок чрез галстук и ворот рубашки на грудь.

– Вот теперь вы можете ехать! – произнесла госпожа Хохлакова, торжественно садясь опять на место.

– Сударыня, я так тронут... и не знаю, как даже благодарить... за такие чувства, но... если бы вы знали, как мне дорого теперь время!.. Эта сумма, которую я столь жду от вашего великодушия... О, сударыня, если вы уж так добры, так трогательно великодушны ко мне (воскликнул вдруг во вдохновении Митя), – то позвольте мне вам открыть... что, впрочем, вы давно уже знаете... что я люблю здесь одно существо... Я изменил Кате... Катерине Ивановне, я хочу сказать. О, я был бесчеловечен и бесчестен пред нею, но я здесь полюбил другую... одну женщину, сударыня, может быть презираемую вами, потому что вы все уже знаете, но которую я никак не могу оставить, никак, а потому теперь, эти три тысячи...

– Оставьте все, Дмитрий Федорович! – самым решительным тоном перебила госпожа Хохлакова. – Оставьте, и особенно женщин. Ваша цель – прииски, а женщин туда незачем везти. Потом, когда вы возвратитесь в богатстве и славе, вы найдете себе подругу сердца в самом высшем обществе. Это будет девушка современная, с познаниями и без предрассудков. К тому времени как раз созреет теперь начавшийся женский вопрос, и явится новая женщина...

– Сударыня, это не то, не то... – сложил было, умоляя, руки Дмитрий Федорович.

– То самое, Дмитрий Федорович, именно то, что вам надо, чего вы жаждете, сами не зная того. Я вовсе не прочь от теперешнего женского вопроса, Дмитрий Федорович. Женское развитие и даже политическая роль женщины в самом ближайшем будущем – вот мой идеал. У меня у самой дочь, Дмитрий Федорович, и с этой стороны меня мало знают. Я написала по этому поводу писателю Щедрину. Этот писатель мне столько указал, столько указал в назначении женщины, что я отправила ему прошлого года анонимное письмо в две строки: «Обнимаю и целую вас, мой писатель, за современную женщину, продолжайте». И подписалась: «мать». Я хотела было подписаться «современная мать», и колебалась, но остановилась просто на матери: больше красоты нравственной, Дмитрий Федорович, да и слово «современная» напомнило бы им «Современник» – воспоминание для них горькое ввиду нынешней цензуры... Ах, боже мой, что с вами?

– Сударыня, – вскочил наконец Митя, складывая пред ней руки ладонями в бессильной мольбе, – вы меня заставите заплакать, сударыня, если будете откладывать то, что так великодушно...

– И поплачьте, Дмитрий Федорович, поплачьте! Это прекрасные чувства... вам предстоит такой путь! Слезы облегчат вас, потом возвратитесь и будете радоваться. Нарочно прискочите ко мне из Сибири, чтобы со мной порадоваться...

– Но позвольте же и мне, – завопил вдруг Митя, – в последний раз умоляю вас, скажите, могу я получить от вас сегодня эту обещанную сумму? Если же нет, то когда именно мне явиться за ней?

– Какую сумму, Дмитрий Федорович?

– Обещанные вами три тысячи... которые вы так великодушно...

– Три тысячи? Это рублей? Ох, нет, у меня нет трех тысяч, – с каким-то спокойным удивлением произнесла госпожа Хохлакова. Митя обомлел...

– Как же вы... сейчас... вы сказали... вы выразились даже. что они все равно как у меня в кармане...

– Ох, нет, вы меня не так поняли, Дмитрий Федорович. Если так, то вы не поняли меня. Я говорила про прииски... Правда, я вам обещала больше, бесконечно больше, чем три тысячи, я теперь все припоминаю, но я имела в виду одни прииски.

– А деньги? А три тысячи? – нелепо воскликнул Дмитрий Федорович.

– О, если вы разумели деньги, то у меня их нет. У меня теперь совсем нет денег, Дмитрий Федорович, я как раз воюю теперь с моим управляющим и сама на днях заняла пятьсот рублей у Миусова. Нет, нет, денег у меня нет. И знаете, Дмитрий Федорович, если б у меня даже и были, я бы вам не дала. Во-первых, я никому не даю займы. Дать займы значит поссориться. Но вам, вам я особенно бы не дала, любя вас не дала бы, чтобы спасти вас не дала бы, потому что вам нужно только одно: прииски, прииски и прииски!..

– О, чтобы черт!.. – взревел вдруг Митя и изо всех сил ударил кулаком по столу.

– А-ай! – закричала Хохлакова в испуге и отлетела в другой конец гостиной.

Митя плюнул и быстрыми шагами вышел из комнаты, из дому, на улицу, в темноту! Он шел, как помешанный, ударяя себя по груди, по тому самому месту груди, по которому ударял себя два дня тому назад пред Алешей, когда виделся с ним в последний раз вечером, в темноте, на дороге. Что означало это битье себя по груди *по этому месту* и на что он тем хотел указать – это была пока еще тайна, которую не знал никто в мире, которую он не открыл тогда даже Алеше, но в тайне этой заключался для него более чем позор, заключались гибель и самоубийство, он так уж решил, если не достанет тех трех тысяч, чтоб уплатить Катерине Ивановне и тем снять с своей груди, «с того места груди» позор, который он носил на ней и который так давил его совесть. Все это вполне объяснится читателю впоследствии, но теперь, после того, как исчезла последняя надежда его, этот, столь сильный физически человек, только что прошел несколько шагов от дому Хохлаковой, вдруг залился слезами, как малый ребенок. Он шел и в забытьи утирал кулаком слезы. Так вышел он на площадь и вдруг почувствовал, что наткнулся на что-то всем телом. Раздался пискливый вой какой-то старушонки, которую он чуть не опрокинул.

– Господи, чуть не убил! Чего зря шагаешь, сорванец!

– Как, это вы? – вскричал Митя, разглядев в темноте старушонку. Это была ты самая старая служанка, которая прислуживала Кузьме Самсонову и которую слишком заметил вчера Митя.

– А вы сами кто таковы, батюшка? – совсем другим голосом проговорила старушка, – не признать мне вас в темноте-то.

– Вы у Кузьмы Кузьмича живете, ему прислуживаете?

– Точно так, батюшка, сейчас только к Прохорычу сбегала... Да чтой-то я вас все признать не могу?

– Скажите, матушка, Аграфена Александровна у вас теперь? – вне себя от ожидания произнес Митя. – Давеча я ее сам проводил.

– Была, батюшка, приходила, посидела время и ушла.

– Как? Ушла? – вскричал Митя. – Когда ушла?

– Да в ту пору и ушла же, минутку только и побыла у нас. Кузьме Кузьмичу сказку одну рассказала, рассмешила его, да и убежала.

– Врешь, проклятая! – завопил Митя.

– А-ай! – закричала старушонка, но Митя и след простыл; он побежал что было силы в дом Морозовой. Это именно было то время, когда Грушенька укатила в Мокрое, прошло не более четверти часа после ее отъезда. Феня сидела со своею бабушкой, кухаркой Матреной, в кухне, когда вдруг вбежал «капитан». Увидав его, Феня закричала благим матом.

– Кричишь? – завопил Митя. – Где она? – Но не дав ответить еще слова обомлевшей от страху Фене, он вдруг повалился ей в ноги:

– Феня, ради Господа Христа нашего, скажи, где она?

– Батюшка, ничего не знаю, голубчик Дмитрий Федорович, ничего не знаю, хоть убейте, ничего не знаю, – заклалась-забожилась Феня, – сами вы давеча с ней пошли...

– Она назад пришла!..

– Голубчик, не приходила, Богом клянусь, не приходила!

– Врешь, – вскричал Митя, – уж по одному твоему испугу знаю, где она!..

Он бросился вон. Испуганная Феня рада была, что дешево отделалась, но очень хорошо поняла, что ему было только некогда, а то бы ей, может, не сдобровать. Но, убегая, он все же удивил и Феню, и старуху Матрену одною самою неожиданною выходкой: на столе стояла медная ступка, а в ней пестик, небольшой медный пестик в четверть аршина всего длиною. Митя, выбегая и уже отворив одною рукой дверь, другою вдруг на лету выхватил пестик из ступки и сунул себе в боковой карман, с ним и был таков.

– Ах, господи, он убить кого хочет! – всплеснула руками Феня.

## IV В темноте

Куда побежал он? Известно: «Где же она могла быть, как не у Федора Павловича? От Самсонова прямо и побежала к нему, теперь-то уж это ясно. Вся интрига, весь обман теперь очевидны...» Все это летело, как вихрь, в голове его. На двор к Марье Кондратьевне он не забежал: «Туда не надо, отнюдь не надо... чтобы ни малейшей тревоги... тотчас передадут и предадут... Марья Кондратьевна, очевидно, в заговоре. Смердяков тоже, тоже, все подкуплены!» У него создалось другое намерение: он обежал большим крюком, чрез переулок, дом Федора Павловича, пробежал Дмитровскую улицу, перебежал потом мостик и прямо попал в уединенный переулок на задах, пустой и необитаемый, огороженный с одной стороны плетнем соседского огорода, а с другой крепким высоким забором, обходившим кругом сада Федора Павловича. Тут он выбрал место и, кажется, то самое, где, по преданию, ему известному, Лизавета Смердящая перелезла когда-то забор. «Если уж та смогла перелезть, – бог знает почему мелькнуло в его голове, – то как же бы я-то не перелез?» И действительно, он подскочил и мигом сноровил схватиться рукой за верх забора, затем энергически приподнялся, разом влез и сел на заборе верхом. Тут вблизи в саду стояла банька, но с забора видны были и освещенные окна дома. «Так и есть, у старика в спальне освещено, она там!» – и он спрыгнул с забора в сад. Хоть он и знал, что Григорий болен, а может быть, и Смердяков в самом деле болен и что услышать его некому, но инстинктивно притаился, замер на месте и стал прислушиваться. Но всюду было мертвое молчание и, как нарочно, полное затишье, ни малейшего ветерка.

«И только шепчет тишина, – мелькнул почему-то этот стишок в голове его, – вот только не услышал бы кто, как я перескочил; кажется, нет». Постояв минутку, он тихонько пошел по саду, по траве; обходя деревья и кусты, шел долго, скрадывая каждый шаг, к каждому шагу своему сам прислушиваясь. Минут с пять добирался он до освещенного окна. Он помнил, что там под самыми окнами есть несколько больших, высоких, густых кустов бузины и калины. Выходная дверь из дома в сад в левой стороне фасада была заперта, и он это нарочно и тщательно высмотрел, проходя. Наконец достиг и кустов и притаился за ними. Он не дышал.

«Переждать теперь надо, – подумал он, – если они слышали мои шаги и теперь прислушиваются, то чтобы разуверились... как бы только не кашлянуть, не чихнуть...»

Он переждал минуты две, но сердце его билось ужасно, и мгновениями он почти задыхался. «Нет, не пройдет сердцебиение, – подумал он, – не могу дольше ждать». Он стоял за кустом в тени; передняя половина куста была освещена из окна. «Калина, ягоды, какие

красные!» – прошептал он, не зная зачем. Тихо, отдельными неслышными шагами подошел он к окну и поднялся на цыпочки. Вся спальня Федора Павловича предстала перед ним как на ладони. Это была небольшая комнатка, вся разделенная поперек красными ширмочками, «китайскими», как называл их Федор Павлович. «Китайские, – пронеслось в уме Митя, – а за ширмами Грушенька». Он стал разглядывать Федора Павловича. Тот был в своем новом пологом шелковом халатике, которого никогда еще не видал у него Митя, подпоясанном шелковым же шнурком с кистями. Из-под ворота халата выглядывало чистое щегольское белье, тонкая голландская рубашка с золотыми запонками. На голове у Федора Павловича была та же красная повязка, которую видел на нем Алеша. «Разоделся», – подумал Митя. Федор Павлович стоял близ окна, по-видимому, в задумчивости, вдруг он вздернул голову, чуть-чуть прислушался и, ничего не услышав, подошел к столу, налил из графина полрюмочки коньячку и выпил. Затем вздохнул всю грудью, опять постоял, рассеянно подошел к зеркалу в простенке, правой рукой приподнял немного красную повязку со лба и стал разглядывать свои синяки и болячки, которые еще не прошли. «Он один, – подумал Митя, – по всем вероятностям один». Федор Павлович отошел от зеркала, вдруг повернулся к окну и глянул в него. Митя мигом отскочил в тень.

«Она, может быть, у него за ширмами, может быть, уже спит», – кольнуло его в сердце. Федор Павлович от окна отошел. «Это он в окошко ее высматривал, стало быть, ее нет: чего ему в темноту смотреть?.. нетерпение, значит, пожирает...» Митя тотчас подскочил и опять стал глядеть в окно. Старик уже сидел перед столиком, видимо пригорюнившись. Наконец облокотился и приложил правую ладонь к щеке. Митя жадно вглядывался.

«Один, один! – твердил он опять. – Если б она была тут, у него было бы другое лицо». Странное дело: в его сердце вдруг закипела какая-то бессмысленная и чудная досада на то, что ее тут нет. «Не на то, что ее тут нет, – осмыслил и сам ответил Митя себе тотчас же, – а на то, что никак наверно узнать не могу, тут она или нет». Митя припоминал потом сам, что ум его был в ту минуту ясен необыкновенно и соображал все до последней подробности, схватывал каждую черточку. Но тоска, тоска неведения и нерешимости нарастала в сердце его с быстротой непомерною. «Здесь она, наконец, или не здесь?» – злобно закипело у него в сердце. И он вдруг решился, протянул руку и потихоньку постучал в раму окна. Он простучал условный знак старика со Смердяковым: два первых раза потише, а потом три раза поскорее: тук-тук-тук – знак, обозначивший, что «Грушенька пришла». Старик вздрогнул, вздернул голову, быстро вскочил и бросился к окну. Митя отскочил в тень. Федор Павлович отпер окно и высунул всю свою голову.



– Грушенька, ты? Ты, что ли? – проговорил он каким-то дрожащим полупшепотом. – Где ты маточка, ангелочик, где ты? – Он был в страшном волнении, он задышался.

«Один!» – решил Митя.

– Где же ты? – крикнул опять старик и высунул еще больше голову, высунул ее с плечами, озираясь на все стороны, направо и налево, – иди сюда; я гостинчику приготовил, иди, покажу!..

«Это он про пакет с тремя тысячами», – мелькнуло у Мити.

– Да где же?.. Али у дверей? Сейчас отворю...

И старик чуть не вылез из окна, заглядывая направо, в сторону, где была дверь в сад, и стараясь разглядеть в темноте. Через секунду он непременно побежал бы отпирать двери, не дождавшись ответа Грушеньки. Митя смотрел сбоку и не шевелился. Весь столь противный ему профиль старика, весь отвисший кадык его, нос крючком, улыбающийся в сладостном ожидании, губы его, все это ярко было освещено косым светом лампы слева из комнаты. Страшная, неистовая злоба закипела вдруг в сердце Мити: «Вот он, его соперник, его мучитель, мучитель его жизни!» Это был прилив той самой внезапной, мстительной и неистой злобы, про которую, как бы предчувствуя ее, возвестил он Алеше в разговоре с ним в беседке четыре дня назад, когда ответил на вопрос Алеши: «Как можешь ты говорить, что убьешь отца?»

«Я ведь не знаю, не знаю, – сказал он тогда, – может, не убью, а может убью. Боюсь, что ненавистен он вдруг мне станет “своим лицом в ту самую минуту”. Ненавижу я его кадык, его нос, его глаза, его бесстыжую усмешку. Личное омерзение чувствую. Вот этого боюсь, вот и не удержусь...»

Личное омерзение нарастало нестерпимо. Митя уже не помнил себя и вдруг выхватил медный пестик из кармана.....

«Бог, – как сам Митя говорил потом, – сторожил меня тогда»: как раз в то самое время проснулся на одре своем больной Григорий Васильевич. К вечеру того же дня он совершил над собою известное лечение, о котором Смердяков рассказывал Ивану Федоровичу, то есть вытерся весь с помощью супруги водкой с каким-то секретным крепчайшим настоем, а остальное выпил с «некоторою молитвой», прошептанною над ним супругой, и залег спать. Марфа Игнатьевна вкусила тоже и как не пьющая заснула подле супруга мертвым сном. Но вот совсем неожиданно Григорий вдруг проснулся в ночи, сообразил минутку и хоть тотчас же опять почувствовал жгучую боль в пояснице, но поднялся на постели. Затем опять что-то обдумал, встал и наскоро оделся. Может быть, угрызение совести кольнуло его за то, что он спит, а дом без сторожа «в такое опасное время». Разбитый падучею Смердяков лежал в другой камерке без движения. Марфа Игнатьевна не шевелилась. «Ослабела баба», – подумал, глянув на нее, Григорий Васильевич и, крихтя, вышел на крылечко.

Конечно, он хотел только глянуть с крылечка, потому что ходить был не в силах, боль в пояснице и в правой ноге была нестерпимая. Но как раз вдруг припомнил, что калитку в сад он с вечера на замок не запер. Это был человек аккуратнейший и точнейший, человек раз установившегося порядка и многолетних привычек. Хромая и корчась от боли, сошел он с крылечка и направился к саду. Так и есть, калитка совсем настезь. Машинально ступил он в сад: может быть, ему что померещилось, может, услышал какой-нибудь звук, но, глянув налево, увидел отворенное окно у барина, пустое уже окошко, никто уже из него не выглядывал. «Почему отворено, теперь не лето!» – подумал Григорий и вдруг, как раз в то самое мгновение, прямо перед ним в саду замелькало что-то необычайное. Шагах в сорока пред ним как бы пробежал в темноте человек, очень быстро двигалась какая-то тень. «Господи», – проговорил Григорий и, не помня себя, забыв про свою боль в пояснице, пустился наперерез бегущему. Он взял короче, сад был ему, видимо, знакомее, чем бегущему; тот же направлялся к бане, пробежал за баню, бросился к стене... Григорий следил его, не теряя из виду, и бежал не помня себя. Он добежал до забора как раз в ту минуту, когда беглец уже перелез забор. Вне себя завопил Григорий, кинулся и вцепился обеими руками в его ногу.

Так и есть, предчувствие не обмануло его; он узнал его, это был он, «изверг-отцеубивец»!

– Отцеубивец! – прокричал старик на всю окрестность, но только это и успел прокричать; он вдруг упал как пораженный громом. Митя соскочил опять в сад и нагнулся над поверженным. В руках Мити был медный пестик, и он машинально отбросил его в траву. Пестик упал в двух шагах от Григория, но не на траву, а на тропинку, на самое видное место. Несколько секунд рассматривал он лежащего пред ним. Голова старика была вся в крови; Митя протя-

нул руку и стал ее ощупывать. Он припомнил потом ясно, что ему ужасно захотелось в ту минуту «вполне убедиться», проломил он череп старику или только «огорошил» его пестиком по темени? Но кровь лилась, лилась ужасно и мигом облила горячею струей дрожащие пальцы Мити. Он помнил, что выхватил свой белый новый платок, которым запасся, идя к Хохлаковой, и приложил к голове старика, бессмысленно стараясь оттереть кровь со лба и с лица. Но и платок мигом весь намок кровью. «Господи, да для чего это я? – очнулся вдруг Митя, – коли уж проломил, то как теперь узнать... Да и не все ли теперь равно! – прибавил он вдруг безнадежно, – убил, так убил... Попался старик и лежи!» – громко проговорил он, и вдруг кинулся на забор, перепрыгнул в переулок и пустился бежать. Намокший кровью платок был скомкан у него в правом кулаке, и он на бегу сунул его в задний карман сюртука. Он бежал сломя голову, и несколько редких прохожих, повстречавшихся ему в темноте, на улицах города, запомнили потом, как встретили они в ту ночь неистово бегущего человека. Летел он опять в дом Морозовой. Давеча Феня, тотчас по уходе его, бросилась к старшему дворнику Назару Ивановичу и «Христом-Богом» начала молить его, чтоб он «не впускал уж больше капитана ни сегодня, ни завтра». Назар Иванович, выслушав, согласился, но на грех отлучился наверх к барыне, куда его внезапно позвали, и на ходу, встретив своего племянника, парня лет двадцати, недавно только прибывшего из деревни, приказал ему побыть на дворе, но забыл приказать о капитане. Добежав до ворот, Митя постучался. Парень мигом узнал его: Митя не раз уже давал ему на чай. Тотчас же отворил ему калитку, впустил и, весело улыбаясь, предупредительно поспешил уведомить, что «ведь Аграфены Александровны теперь дома-то и нет-с».

– Где же она, Прохор? – вдруг остановился Митя.

– Давеча уехала, часа с два тому, с Тимофеем, в Мокрое.

– Зачем? – крикнул Митя.

– Этого знать не могу-с, к офицеру какому-то, кто-то их позвал, оттуда и лошадей прислали...

Митя бросил его и, как полоумный, вбежал к Фене.

## V

### Внезапное решение

Та сидела в кухне с бабушкой, обе собирались ложиться спать. Надеясь на Назара Ивановича, они изнутри опять-таки не заперлись. Митя вбежал, кинулся на Феню и крепко схватил ее за горло.

– Говори сейчас, где она, с кем теперь в Мокром? – завопил он в испуге.

Обе женщины взвизгнули.

– Ай скажу, ай, голубчик Дмитрий Федорович, сейчас все скажу, ничего не потаю, – прокричала скороговоркой на смерть испуганная Феня, – она в Мокрое к офицеру поехала.

– К какому офицеру? – вопил Митя.

– К прежнему офицеру, к тому самому, к прежнему своему, пять лет тому который был, бросил и уехал, – тою же скороговоркой протрещала Феня.

Дмитрий Федорович отнял руки, которыми сжимал ей горло. Он стоял перед нею бледный как мертвец и безгласный, но по глазам его было видно, что он все разом понял, все, все разом с полслова понял до последней черточки и обо всем догадался. Не бедной Фене, конечно, было наблюдать в ту секунду, понял он или нет. Она как была, сидя на сундуке, когда он вбежал, так и осталась теперь, вся трепещущая, и, выставив перед собою руки, как бы желая защититься, так и замерла в этом положении. Испуганными, расширенными от страха зрачками глаз впилась она в него неподвижно. А у того как раз к тому обе руки были запачканы в крови. Дорогой, когда бежал, он, должно быть, дотрагивался ими до своего лба, вытирая с лица пот, так что на лбу и на правой щеке остались красные пятна размазанной крови. С Феней могла сейчас

начаться истерика, старуха же кухарка вскочила и глядела, как сумасшедшая, почти потеряв сознание. Дмитрий Федорович простоял с минуту и вдруг машинально опустился возле Фени на стул.

Он сидел и не то чтобы соображал, а был как бы в испуге, точно в каком-то столбняке. Но все было ясно как день: этот офицер – он знал про него, знал ведь отлично все, знал от самой же Грушеньки, знал, что месяц назад он письмо прислал. Значит, месяц, целый месяц это дело велось в глубокой от него тайне до самого теперешнего приезда этого нового человека, а он-то и не думал о нем! Но как мог, как мог он не думать о нем? Почему он так-таки и забыл тогда про этого офицера, забыл тотчас же, как узнал про него? Вот вопрос, который стоял пред ним как какое-то чудовище. И он созерцал это чудовище действительно в испуге, похолодев от испуга.

Но вдруг он тихо и кротко, как тихий и ласковый ребенок, заговорил с Феней, совсем точно и забыв, что сейчас ее так перепугал, обидел и измучил. Он вдруг с чрезвычайной и даже удивительной в его положении точностью принялся расспрашивать Феню. А Феня хоть и дико смотрела на окровавленные руки его, но тоже с удивительной готовностью и поспешностью принялась отвечать ему на каждый вопрос, даже как бы спеша выложить ему всю «правду правдинскую». Мало-помалу, даже с какою-то радостью начала излагать все подробности, и вовсе не желая мучить, а как бы спеша изо всех сил от сердца услужить ему. До последней подробности рассказала она ему и весь сегодняшний день, посещение Ракитина и Алеши, как она, Феня, стояла на сторожах, как барыня поехала и что она прокричала в окошко Алеше поклон ему, Митеньке, и чтобы «вечно помнил, как любила она его часочек». Выслушав о поклоне, Митя вдруг усмехнулся, и на бледных щеках его вспыхнул румянец. Феня в ту же минуту сказала ему, уже ни крошечки не боясь за свое любопытство:

– Руки-то какие у вас, Дмитрий Федорович, все-то в крови!

– Да, – ответил машинально Митя, рассеянно посмотрел на свои руки и тотчас забыл про них и про вопрос Фени. Он опять погрузился в молчание. С тех пор, как вбежал он, прошло уже минут двадцать. Давешний испуг его прошел, но, видимо, им уже овладевала вполне какая-то новая непреклонная решимость. Он вдруг встал с места и задумчиво улыбнулся.

– Барин, что с вами это такое было? – проговорила Феня, опять показывая ему на руки, – проговорила с сожалением, точно самое близкое теперь к нему в горе его существо.

Митя опять посмотрел себе на руки.

– Это кровь, Феня, – проговорил он, со странным выражением смотря на нее, – это кровь человеческая и, Боже, зачем она пролилась! Но... Феня... тут один забор (он глядел на нее как бы загадывая ей загадку), один высокий забор и страшный на вид, но... завтра на рассвете, когда «взлетит солнце», Митенька через этот забор перескочит... Не понимаешь, Феня, какой забор, ну да ничего... все равно, завтра услышишь и все поймешь... а теперь прощай! Не помешаю и устранюсь, сумею устраниться. Живи, моя радость... любила меня часок, так и помни навеки Митеньку Карамазова... Ведь она меня все называла Митенькой, помнишь?

И с этими словами вдруг вышел из кухни. А Феня выхода этого испугалась чуть не больше еще, чем когда он давеча вбежал и бросился на нее.

Ровно десять минут спустя Дмитрий Федорович вошел к тому молодому чиновнику, Петру Ильичу Перхотину, которому давеча заложил пистолеты. Было уже половина девятого, и Петр Ильич, напившись дома чаю, только что облекся снова в сюртук, чтоб отправиться в трактир «Столичный город» поиграть на биллиарде. Митя захватил его на выходе. Тот, увидев его и его запачканное кровью лицо, так и вскрикнул:

– Господи! да что это с вами?

– А вот, – быстро проговорил Митя, – за пистолетами моими пришел и вам деньги принес. С благодарностью. Тороплюсь, Петр Ильич, пожалуйста, поскорее.

Петр Ильич все больше и больше удивлялся: в руках Мити он вдруг рассмотрел кучу денег, а главное, он держал эту кучу, и вошел с нею, как никто деньги не держит и никто с

ними не входит: все кредитки нес в правой руке, точно напоказ, прямо держа руку перед собой. Мальчик, слуга чиновника, встретивший Митю в передней, сказывал потом, что он так и в переднюю вошел с деньгами в руках, стало быть, и по улице все так же нес их перед собой в правой руке. Бумажки были все сторублевые, радужные, придерживал он их окровавленными пальцами. Петр Ильич потом на позднейшие вопросы интересовавшихся лиц: сколько было денег? – заявил, что тогда сосчитать на глаз трудно было, может быть, две тысячи, может быть, три, но пачка была большая, «плотненькая». Сам же Дмитрий Федорович, как показывал он тоже потом, «был как бы тоже совсем не в себе, но не пьян, а точно в каком-то восторге, очень рассеян, а в то же время как будто и сосредоточен, точно о чем-то думал и добивался, и решить не мог. Очень торопился, отвечал резко, очень странно, мгновениями же был как будто не в горе, а даже весел».

– Да с вами-то что, с вами-то что теперь? – прокричал опять Петр Ильич, дико рассматривая гостя. – Как это вы так раскровенились, упали что ли, посмотрите!

Он схватил его за локоть и поставил к зеркалу. Митя, увидав свое запачканное кровью лицо, вздрогнул и гневно нахмурился.

– Э, черт! Этого недоставало, – пробормотал он со злобой, быстро переложил из правой руки кредитки в левую и судорожно выдернул из кармана платок. Но и платок оказался весь в крови (этим самым платком он вытирал голову и лицо Григорию): ни одного почти местечка не было белого, и не то что начал засыхать, а как-то заскорюз в комке и не хотел развернуться. Митя злобно шваркнул его об пол.

– Э, черт! Нет ли у вас какой тряпки... обтереться бы...

– Так вы только запачкались, а не ранены? Так уж лучше вымойтесь, – ответил Петр Ильич. – Вот рукомойник, я вам подам.

– Рукомойник? Это хорошо... только куда же я это дену? – в каком-то совсем уж странном недоумении указал он Петру Ильичу на свою пачку сторублевых, вопросительно глядя на него, точно тот должен был решить, куда ему девать свои собственные деньги.

– В карман суньте али на стол вот здесь положите, не пропадут.

– В карман? Да, в карман. Это хорошо... Нет, видите ли, это все вздор! – прокричал он, как бы вдруг выходя из рассеянности. – Видите: мы сперва это дело кончим, пистолеты-то, вы мне их отдайте, а вот ваши деньги... потому что мне очень, очень нужно... и времени, времени ни капли...

И, сняв с пачки верхнюю сторублевую, он протянул ее чиновнику.

– Да у меня и сдачи не будет, – заметил тот, – у вас мельче нет?

– Нет, – сказал Митя, поглядев опять на пачку и, как бы неуверенный в словах своих, попробовал две-три бумажки сверху, – нет, все такие же, – прибавил он и опять вопросительно поглядел на Петра Ильича.

– Да откуда вы так разбогатели? – спросил тот. – Пойдите, я мальчишку своего пошлю сбегать к Плотниковым. Они запирают поздно – вот не разменяют ли. Эй, Миша! – крикнул он в переднюю.

– В лавку к Плотниковым – великолепнейшее дело! – крикнул и Митя, как бы осененный какою-то мыслью. – Миша, – обернулся он к вошедшему мальчику, – видишь, беги к Плотниковым и скажи, что Дмитрий Федорович велел кланяться и сейчас сам будет... Да слушай: чтобы к его приходу приготовили шампанского, так дюжинки три, да уложили как тогда, когда в Мокрое ездил... Я тогда четыре дюжины у них взял, – (вдруг обратился он к Петру Ильичу), – они уж знают, не беспокойся, Миша, – повернулся он опять к мальчику. – Да слушай: чтобы сыру там, пирогов страсбургских, сигов копченых, ветчины, икры, ну и всего, всего, что только есть у них, рублей этак на сто или на сто двадцать, как прежде было... Да слушай: гостинцев чтобы не забыли, конфет, груш, арбуза два или три, аль четыре, – ну нет, арбуза-то одного довольно, а шоколаду, леденцов, монпансье, тягущек – ну всего, что тогда со мной в Мокрое

уложили, с шампанским рублей на триста чтобы было... Ну, вот и теперь чтобы так же точно. Да вспомни, Миша, если ты, Миша... Ведь его Мишей зовут? – опять обратился он к Петру Ильичу.

– Да постойте, – перебил Петр Ильич, с беспокойством его слушая и рассматривая, – вы лучше сами пойдите, тогда и скажете, а он переверт.

– Переверт, вижу, что переверт! Эх, Миша, а я было тебя поцеловать хотел за комиссию... Коли не перевернешь, десять рублей тебе, скажи скорей... Шампанское, главное, шампанское чтобы выкатили, да и коньячку, да и красного, и белого, и всего этого, как тогда. Они уж знают, как тогда было.

– Да слушайте вы! – с нетерпением уже перебил Петр Ильич. – Я говорю: пусть он только сбегает разменять, да прикажет, чтобы не запирали, а вы пойдете и сами скажете... Давайте вашу кредитку. Марш, Миша, одна нога там, другая тут! – Петр Ильич, кажется, нарочно поскорей прогнал Мишу, потому что тот как стал перед гостем, выпуча глаза на его кровавое лицо и окровавленные руки с пучком денег в дрожавших пальцах, так и стоял, разиня рот от удивления и страха и, вероятно, мало понял из всего того, что ему наказывал Митя.

– Ну, теперь пойдете мыться, – сурово сказал Петр Ильич. – Положите деньги на стол али суньте в карман... Вот так, идем. Да снимите сюртук.

И он стал ему помогать снять сюртук и вдруг опять вскрикнул:

– Смотрите, у вас и сюртук в крови!

– Это... это не сюртук. Только немного тут у рукава... А это вот только здесь, где платок лежал. Из кармана просочилось. Я на платок-то у Фени сел, кровь-то и просочилась, – с какою-то удивительною доверчивостью тотчас же объяснил Митя. Петр Ильич выслушал, нахмурившись.

– Угораздило же вас; подрались, должно быть, с кем, – пробормотал он.

Начали мыться. Петр Ильич держал кувшин и подливал воду. Митя торопился и плохо было намылил руки. (Руки у него дрожали, как припомнил потом Петр Ильич.) Петр Ильич тотчас же велел намылить больше и тереть больше. Он как будто брал какой-то верх над Митей в эту минуту, чем дальше, тем больше. Заметим кстати: молодой человек был характера неробкого.

– Смотрите, не отмыли под ногтями; ну, теперь трите лицо, вот тут: на висках, у уха... Вы в этой рубашке и поедете? Куда это вы едете? Смотрите, весь обшлаг правого рукава в крови.

– Да, в крови, – заметил Митя, рассматривая обшлаг рубашки.

– Так перемените белье.

– Некогда. А я вот, вот видите... – продолжал с тою же доверчивостью Митя, уже вытирая полотенцем лицо и руки и надевая сюртук, – я вот здесь край рукава загнул, его и не видно будет под сюртуком... Видите!

– Говорите теперь, где это вас угораздило? Подрались, что ли, с кем? Не в трактире ли опять, как тогда? Не опять ли с капитаном, как тогда, били его и таскали? – как бы с укориною припомнил Петр Ильич. – Кого еще прибили... али убили, пожалуй?

– Вздор! – проговорил Митя.

– Как вздор?

– Не надо, – сказал Митя и вдруг усмехнулся. – Это я старушонку одну на площади сейчас раздавил.

– Раздавили? Старушонку?

– Старика! – крикнул Митя, смотря Петру Ильичу прямо в лицо, смеясь и крича ему как глухому.

– Э, черт возьми, старика, старушонку... Убили, что ли, кого?

– Помирились. Сцепились – и помирились. В одном месте. Разошлись приятельски. Один дурак... он мне простил... теперь уж наверно простил... Если бы встал, так не простил бы, –

подмигнул вдруг Митя, – только знаете, к черту его, слышите, Петр Ильич, к черту, не надо! В сию минуту не хочу! – решительно отрезал Митя.

– Я ведь к тому, что охота же вам со всяким связываться... как тогда из пустяков с этим штабс-капитаном... Подрались и кутить теперь мчитесь – весь ваш характер. Три дюжины шампанского – это куда же столько?

– Bravo! Давайте теперь пистолеты. Ей-богу, нет времени. И хотел бы с тобой поговорить, голубчик, да времени нет. Да и не надо вовсе, поздно говорить. А! где же деньги, куда я их дел? – вскрикнул он и принялся совать по карманам руки.

– На стол положили... сами... вон они лежат. Забыли? Подлинно деньги у вас точно сораль вода. Вот ваши пистолеты. Странно, в шестом часу давеча заложил их за десять рублей, а теперь эвона у вас, тысяч-то. Две или три небось?

– Три небось, – засмеялся Митя, суя деньги в боковой карман панталон.

– Потеряете этак-то. Золотые прииски у вас, что ли?

– Прииски? Золотые прииски! – изо всей силы закричал Митя и закатился смехом. – Хотите, Перхотин, на прииски? Тотчас вам одна дама здесь три тысячи отсыплет, чтоб только ехали. Мне отсыпала, уж так она прииски любит! Хохлакову знаете?

– Незнаком, а слышал и видал. Неужто это она вам три тысячи дала? Так и отсыпала? – недоверчиво глядел Петр Ильич.

– А вы завтра, как солнце взлетит, вечно юный-то Феб как взлетит, хваля и славя Бога, вы завтра пойдите к ней, к Хохлаковой-то, и спросите у ней сами: отсыпала она мне три тысячи али нет? Справьтесь-ка.

– Я не знаю ваших отношений... коли вы так утвердительно говорите, значит, дала... А вы денежки-то в лапки, да вместо Сибири-то, по всем по трем... Да куда вы в самом деле теперь, а?

– В Мокрое.

– В Мокрое? Да ведь ночь!

– Был Матрюк во всем, стал Матрюк ни в чем! – проговорил вдруг Митя.

– Как ни в чем? Это с такими-то тысячами, да ни в чем?

– Я не про тысячи, К черту тысячи! Я про женский нрав говорю:

Легковерен женский нрав  
И изменчив, и порочен.

Я с Уллисом согласен, что он говорит.

– Не понимаю я вас!

– Пьян, что ли?

– Не пьян, а хуже того.

– Я духом пьян, Петр Ильич, духом пьян, и довольно, довольно...

– Что это вы, пистолет заряжаете?

– Пистолет заряжаю.

Митя действительно, раскрыв ящик с пистолетами, отомкнул рожок с порохом и тщательно всыпал и забил заряд. Затем взял пулю и, пред тем как вкатить ее, поднял ее в двух пальцах перед собой над свечкой.

– Чего это вы на пулю смотрите? – с беспокойным любопытством следил Петр Ильич.

– Так. Воображение. Вот если бы ты вздумал эту пулю всадить себе в мозг, то, заряжая пистолет, посмотрел бы на нее или нет?

– Зачем на нее смотреть?

– В мой мозг войдет, так интересно на нее взглянуть, какова она есть... А впрочем, вздор, минутный вздор. Вот и кончено, – прибавил он, вкатив пулю и заколов ее паклей. – Петр

Ильич, милый, вздор, все вздор, и если бы ты знал, до какой степени вздор! Дай-ка мне теперь бумажки кусочек.

– Вот бумажка.

– Нет, гладкой, чистой, на которой пишут. Вот так. – И Митя, схватив со стола перо, быстро написал на бумажке две строки, сложил вчетверо бумажку и сунул в жилетный карман. Пистолеты вложил в ящик, запер ключиком и взял ящик в руки. Затем посмотрел на Петра Ильича и длинно, вдумчиво улыбнулся.

– Теперь идем, – сказал он.

– Куда идем? Нет, постойте... Это вы, пожалуй, себе в мозг ее хотите послать, пулю-то... – с беспокойством произнес Петр Ильич.

– Пуля вздор! Я жить хочу, я жизнь люблю! Знай ты это. Я златокудрого Феба и свет его горячий люблю... Милый Петр Ильич, умеешь ты устраниться?

– Как это устраниться?

– Дорогу дать. Милому существу и ненавистному и дать дорогу. И чтоб и ненавистное милым стало – вот как дать дорогу! И сказать им: бог с вами, идите, проходите мимо, а я...

– А вы?

– Довольно, идем.

– Ей-богу, скажу кому-нибудь, – глядел на него Петр Ильич, – чтобы вас не пустить туда. Зачем вам теперь в Мокрое?

– Женщина там, женщина, и довольно с тебя, Петр Ильич, и шабаш!

– Послушайте, вы хоть и дики, но вы мне всегда как-то нравились... я вот и беспокоюсь.

– Спасибо тебе, брат. Я дикий, говоришь ты. Дикари, дикари! Я одно только и твержу: дикари! А, да вот Миша, а я-то его и забыл.

Вошел впопыхах Миша с пачкой размененных денег и отрапортовал, что у Плотниковых «все заходили» и бутылки волокут, и рыбу, и чай – сейчас все готово будет. Митя схватил десятирублевую и подал Петру Ильичу, а другую десятирублевую кинул Мише.

– Не смей! – вскричал Петр Ильич. – У меня дома нельзя, да и дурное баловство это. Спрячьте ваши деньги, вот сюда положите, чего их сорить-то? Завтра же пригодятся, ко мне же ведь и придете десять рублей просить. Что это вы в боковой карман все суете? Эй, потеряете!

– Слушай, милый человек, поедem в Мокрое вместе?

– Мне-то зачем туда?

– Слушай, хочешь сейчас бутылку откупорю, выпьем за жизнь! Мне хочется выпить, а пуще всего с тобою выпить. Никогда я с тобою не пил, а?

– Пожалуй, в трактире можно, пойдem, я туда сам сейчас отправляюсь.

– Некогда в трактире, а у Плотниковых в лавке, в задней комнате. Хочешь, я тебе одну загадку загадаю сейчас.

– Загадай.

Митя вынул из жилета свою бумажку, развернул ее и показал. Четким и крупным почерком было на ней написано:

«Казню себя за всю жизнь, всю жизнь мою наказую!»

– Право, скажу кому-нибудь, пойду сейчас и скажу, – проговорил, прочитав бумажку, Петр Ильич.

– Не успеешь, голубчик, идем и выпьем, марш!

Лавка Плотниковых приходилась почти через один только дом от Петра Ильича, на углу улицы. Это был самый главный бакалейный магазин в нашем городе, богатых торговцев, и сам по себе весьма не дурной. Было все, что и в любом магазине в столице, всякая бакалея: вина «разлива братьев Елисеевых», фрукты, сигары, чай, сахар, кофе и проч. Всегда сидели три приказчика и бегали два рассыльных мальчика. Хотя край наш и обеднел, помещики разъехались, торговля затихла, а бакалея процветала по-прежнему и даже все лучше и лучше с каж-

дым годом: на эти предметы не переводились покупатели. Митю ждали в лавке с нетерпением. Слишком помнили, как он недели три-четыре назад забрал точно так же разом всякого товару и вин на несколько сот рублей чистыми деньгами (в кредит-то бы ему ничего, конечно, не поверили), помнили, что так же, как и теперь, в руках его торчала целая пачка радужных и он разбрасывал их зря, не торгуясь, не соображая и не желая соображать, на что ему столько товару, вина и проч.? Во всем городе потом говорили, что он тогда, укатив с Грушенькой в Мокрое, «просадил в одну ночь и следующий затем день три тысячи разом и воротился с кутежа без гроша, в чем мать родила». Поднял тогда цыган целый табор (в то время у нас заочевавший), которые в два дня выгасили-де у него, у пьяного, без счету денег и выпили без счету дорогого вина. Рассказывали, смеясь над Митей, что в Мокром он запоил шампанским сиволапых мужиков, деревенских девок и баб закармливал конфетами и страсбургскими пирогами. Смеялись тоже у нас, в трактире особенно, над собственным откровенным и публичным тогдашним признанием Мити (не в глаза ему, конечно, смеялись, в глаза ему смеяться было несколько опасно), что от Грушеньки он за всю ту «эскападу» только и получил, что «позволила ему свою ножку поцеловать, а более ничего не позволила».

Когда Митя с Петром Ильичем подошли к лавке, то у входа нашли уже готовую тройку, в телеге, покрытой ковром, с колокольчиками и бубенчиками и с ямщиком Андреем, ожидавшим Митю. В лавке почти совсем успели «сладить» один ящик с товаром и ждали только появления Мити, чтобы заколотить и уложить его на телегу. Петр Ильич удивился.

– Да откуда поспела у тебя тройка? – спросил он Митю.

– К тебе бежал, вот его, Андрея, встретил и велел ему прямо сюда к лавке и подъезжать. Времени терять нечего! В прошлый раз с Тимофеем ездил, да Тимофей теперь тью-тью-тью, вперед меня с волшебницей одной укатил. Андрей, опоздаем очень?

– Часом только разве прежде нашего прибудут, да и того не будет, часом всего упредят! – поспешно отозвался Андрей. – Я Тимофея и снарядил, знаю, как поедут. Их езда не наша езда, Дмитрий Федорович, где им до нашего. Часом не потрафят раньше! – с жаром перебил Андрей, еще не старый ямщик, рыжеватый, сухошавый парень в поддевке и с армяком на левой руке.

– Пятьдесят рублей на водку, коли только часом отстанешь.

– За час времени ручаемся, Дмитрий Федорович, эх, получасом не упредят, не то что часом!

Митя хоть и засуетился, распоряжаясь, но говорил и приказывал как-то странно, вразбивку, а не по порядку. Начинал одно и забывал окончание. Петр Ильич нашел необходимым ввязаться и помочь делу.

– На четыреста рублей, не менее как на четыреста, чтобы точь-в-точь по-тогдашнему, – командовал Митя. – Четыре дюжины шампанского, ни одной бутылки меньше.

– Зачем тебе столько, к чему это? Стой! – завопил Петр Ильич. – Это что за ящик? С чем? Неужели тут на четыреста рублей?

Ему тотчас же объяснили суетившиеся приказчики со слащавою речью, что в этом первом ящике всего лишь полдюжины шампанского и «всякие необходимые на первый случай предметы» из закусок, конфет, монпансье и проч. Но что главное «потребление» уложится и отправится сей же час особо, как и в тогдашний раз, в особой телеге и тоже тройкой и потрафит к сроку, «разве всего только часом позже Дмитрия Федоровича к месту прибудет».

– Не более часу, чтоб не более часу, и как можно больше монпансье и тягушек положите; это там девки любят, – с жаром настаивал Митя.

– Тягушек – пусть. Да четыре-то дюжины к чему тебе? Одной довольно, – почти осердился уже Петр Ильич. Он стал торговаться, он потребовал счет, он не хотел успокоиться. Спас, однако, всего одну сотню рублей. Остановились на том, чтобы всего товару доставлено было не более как на триста рублей. – А, черт вас подери! – вскричал Петр Ильич, как бы вдруг одумавшись, – да мне-то тут что? Бросай свои деньги, коли даром нажил! – Сюда, эконо-

ном, сюда, не сердись, – потащил его Митя в заднюю комнату лавки, – вот здесь нам бутылку сейчас подадут, мы и хлебнем. Эх, Петр Ильич, поедем вместе, потому что ты человек милый, таких люблю. Митя уселся на плетеный стульчик перед крошечным столиком, накрытым грязнейшей салфеткой. Петр Ильич примостился напротив него, и мигом явилось шампанское. Предложили, не пожелают ли господа устриц, «первейших устриц, самого последнего получения». – К черту устриц, я не ем, да и ничего не надо, – почти злобно огрызнулся Петр Ильич. – Некогда устриц, – заметил Митя, – да и аппетита нет. Знаешь, друг, – проговорил он вдруг с чувством, – не любил я никогда всего этого беспорядка. – Да кто ж его любит! Три дюжины, помилуй, на мужиков, это хоть кого взорвет. – Я не про это. Я про высший порядок. Порядку во мне нет, и к черту! Вся жизнь моя была беспорядок, и надо положить порядок. Каламбурю, а? – Бредишь, а не каламбуришь.

Слава Высшему на свете,  
Слава Высшему во мне!

– Этот стишок у меня из души вырвался когда-то, не стих, а слеза... сам сочинил... не тогда, однако, когда штабс-капитана за бороденку тащил...

– Что это ты вдруг о нем?

– Чего я вдруг о нем? Вздор! Все кончается, все равняется, черта – и итог.

– Право, мне всё твои пистолеты мерещатся.

– И пистолеты вздор! Пей и не фантазируй. Жизнь люблю, слишком уж жизнь полюбил, что и мерзко. Довольно! За жизнь, голубчик, за жизнь выпьем, за жизнь предлагаю тост! Почему я доволен собой? Я подл, но доволен собой. И, однако ж, я мучусь тем, что я подл, но доволен собой. Благословляю творение, сейчас готов Бога благословить и Его творение, но... надо истребить одно смрадное насекомое, чтобы не ползало, другим жизни не портило... Выпьем за жизнь, милый брат! Что может быть дороже жизни! Ничего, ничего! За жизнь и за одну царицу из цариц.

– Выпьем за жизнь, а пожалуй, и за твою царицу.

Выпили по стакану. Митя был хотя и восторжен, и раскидчив, но как-то грустен. Точно какая-то непреодолимая и тяжелая забота стояла за ним.

– Миша... это твой Миша вошел? Миша, голубчик, Миша, поди сюда, выпей ты мне этот стакан, за Феба златокудрого, завтрашнего...

– Да зачем ты ему! – крикнул Петр Ильич раздражительно.

– Ну позволь, ну так, ну я хочу.

– Э-эх!

Миша выпил стакан, поклонился и убежал.

– Запомнит дольше, – заметил Митя. – Женщину я люблю, женщину! Что есть женщина? Царица земли!

Грустно мне, грустно, Петр Ильич. Помнишь Гамлета: «Мне так грустно, так грустно, Горацио... Ах, бедный Иорик!» Это я, может быть, Иорик и есть. Именно теперь я Иорик, а череп потом.

Петр Ильич слушал и молчал, помолчал и Митя.

– Это какая у вас собачка? – спросил он вдруг рассеянно приказчика, заметив в углу маленькую хорошенькую болоночку с черными глазками.

– Это Варвары Алексеевны, хозяйки нашей болоночка, – ответил приказчик, – сами занесли давеча, да и забыли у нас. Отнести надо будет обратно.

– Я одну такую же видел... в полку... – вдумчиво произнес Митя, – только у той задняя ножка была сломана... Петр Ильич, хотел я спросить тебя кстати: крал ты когда что в своей жизни, аль нет?

– Это что за вопрос?

– Нет, я так. Видишь, из кармана у кого-нибудь, чужое? Я не про казну говорю, казну все дерут и ты, конечно, тоже...

– Убирайся к черту.

– Я про чужое: прямо из кармана, из кошелька, а?

– Украл один раз у матери двугривенный, девяти лет был, со стола. Взял тихонько и зажал в руку.

– Ну, и что же?

– Ну, и ничего. Три дня хранил, стыдно стало, признался и отдал.

– Ну, и что же?

– Естественно, высекли. Да ты чего уж, ты сам не украл ли?

– Украл, – хитро подмигнул Митя.

– Что украл? – залюбопытствовал Петр Ильич.

– У матери двугривенный, девяти лет был, через три дня отдал. – Сказав это, Митя вдруг встал с места.

– Дмитрий Федорович, не поспешить ли? – крикнул вдруг у дверей лавки Андрей.

– Готово? Идем! – всполохнулся Митя. – Еще последнее сказанье и... Андрею стакан водки на дорогу, сейчас! Да коньяку ему, кроме водки, рюмку! Этот ящик (с пистолетами) мне под сиденье. Прощай, Петр Ильич, не поминай лихом.

– Да ведь завтра воротишься?

– Непременно.

– Расчетец теперь изволите покончить? – подскочил приказчик.

– А, да, расчет! Непременно!

Он опять выхватил из кармана свою пачку кредиток, снял три радужных, бросил на прилавок и спеша вышел из лавки. Все за ним последовали и, кланяясь, провожали с приветствиями и пожеланиями. Андрей крякнул от только что выпитого коньяку и вскочил на сиденье. Но едва только Митя начал садиться, как вдруг перед ним совсем неожиданно очутилась Феня. Она прибежала вся запыхавшись, с криком сложила перед ним руки и бухнулась ему в ноги:

– Батюшка, Дмитрий Федорович, голубчик, не погубите барыню! А я-то вам все рассказала!.. И его не погубите, прежний ведь он, ихний! Замуж теперь Аграфену Александровну возьмет, с тем и из Сибири вернулся... Батюшка, Дмитрий Федорович, не загубите чужой жизни!

– Те-те-те, вот оно что! Ну, наделаешь ты теперь там дел! – пробормотал про себя Петр Ильич. – Теперь все понятно, теперь как не понять. Дмитрий Федорович, отдай-ка мне пистолеты, если хочешь быть человеком, – воскликнул он громко Мите, – слышишь, Дмитрий?



– Пистолеты? Подожди, голубчик, я их дорогой в лужу выброшу, – ответил Митя. – Феня, встань, не лежи ты предо мной. Не погубит Митя, впредь никого уж не погубит этот глупый человек. Да вот что, Феня, – крикнул он ей, уже усевшись, – обидел я тебя давеча, так прости меня и помилуй, прости подлеца... А не простишь, все равно! Потому что теперь уже все равно! Трогай, Андрей, живо улетай!

Андрей тронул; колокольчик зазвенел.

– Прощай, Петр Ильич! Тебе последняя слеза!..

«Не пьян ведь, а какую ахиною порет!» – подумал вслед ему Петр Ильич. Он расположился было остаться присмотреть за тем, как будут снаряжать воз (на тройке же) с остальными припасами и винами, предчувствуя, что надуют и обсчитают Митю, но вдруг, сам на себя рассердившись, плюнул и пошел в свой трактир играть на бильярде.

– Дурак, хоть и хороший малый... – бормотал он про себя дорогой. – Про этого какого-то офицера «прежнего» Грушенькинова я слыхал. Ну, если прибыл, то... Эх, пистолеты эти! А, черт, что, я его дядька, что ли? Пусть их! Да и ничего не будет. Горланы и больше ничего. Напьются и подерутся, подерутся и помирятся. Разве это люди дела? Что это за «устранюсь», «казню себя» – ничего не будет! Тысячу раз кричал этим слогом пьяный в трактире. Теперь-то не пьян. «Пьян духом» – слог любят подлещы. Дядька я ему, что ли? И не мог не подраться, вся харя в крови. С кем бы это? В трактире узнаю. И платок в крови... Фу, черт, у меня на полу остался... наплевать!

Пришел в трактир он в сквернейшем расположении духа и тотчас же начал партию. Партия развеселила его. Сыграл другую и вдруг заговорил с одним из партнеров о том, что у Дмитрия Карамазова опять деньги появились, тысяч до трех, сам видел, и что он опять укатил кутить в Мокрое с Грушенькой. Это было принято почти с неожиданным любопытством слушателями. И все они заговорили, не смеясь, а как-то странно серьезно. Даже игру перервали.

– Три тысячи? Да откуда у него быть трем тысячам?

Стали расспрашивать дальше. Известие о Хохлаковой приняли сомнительно.

– А не ограбил ли старика, вот что?

– Три тысячи! Что-то не ладно.

– Похвалялся же убить отца вслух, все здесь слышали. Именно про три тысячи говорил...

Петр Ильич слушал и вдруг стал отвечать на расспросы сухо и скупно. Про кровь, которая была на лице и на руках Мити, не упомянул ни слова, а когда шел сюда, хотел было рассказать. Начали третью партию, мало-помалу разговор о Мите затих; но, докончив третью партию, Петр Ильич больше играть не пожелал, положил кий и, не поужинав, как собирался, вышел из трактира. Выйдя на площадь, он стал в недоумении и даже дивясь на себя. Он вдруг сообразил, что ведь он хотел сейчас идти в дом Федора Павловича, узнать, не произошло ли чего. «Из-за вздора, который окажется, разбуду чужой дом и наделаю скандала. Фу, черт, дядька я им, что ли?»

В сквернейшем расположении духа направился он прямо к себе домой и вдруг вспомнил про Феню: «Э, черт, вот бы давеча расспросить ее, – подумал он в досаде, – все бы и знал». И до того вдруг загорелось в нем самое нетерпеливое и упрямое желание поговорить с нею и разузнать, что с полдороги он круто повернул к дому Морозовой, в котором квартировала Грушенька. Подойдя к воротам, он постучался, и раздавшийся в тишине ночи стук опять как бы вдруг отрезвил и обозлил его. К тому же никто не откликнулся, все в доме спали. «И тут скандалу наделаю!» – подумал он с каким-то уже страданием в душе, но вместо того, чтоб уйти окончательно, принялся вдруг стучать снова изо всей силы. Поднялся гам на всю улицу. «Так вот нет же, достучусь, достучусь!» – бормотал он, с каждым звуком злясь на себя до остервенения, но с тем вместе и усугубляя удары в ворота.

## VI

### Сам еду!

А Дмитрий Федорович летел по дороге. До Мокрого было двадцать верст с небольшим, но тройка Андреева скакала так, что могла поспеть в час с четвертью. Быстрая езда как бы вдруг освежила Митю. Воздух был свежий и холодноватый, на чистом небе сияли крупные звезды. Это была та самая ночь, а может, и тот самый час, когда Алеша, упав на землю, «исступленно клялся любить ее во веки веков». Но смутно, очень смутно было в душе Мити, и хоть

многое терзало теперь его душу, но в этот момент все существо его неотразимо устремилось лишь к ней, к его царице, к которой летел он, чтобы взглянуть на нее в последний раз. Скажу лишь одно: даже и не спорило сердце его ни минуты. Не поверят мне, может быть, если скажу, что этот ревнивец не ощущал к этому новому человеку, новому сопернику, выскочившему из-под земли, к этому «офицеру» ни малейшей ревности. Ко всякому другому, явись такой, приревновал бы тотчас же и, может быть, вновь бы намочил свои страшные руки кровью, а к этому, к этому «ее первому», не ощущал он теперь, летя на своей тройке, не только ревнивой ненависти, но даже враждебного чувства – правда, еще не видал его. «Тут уж бесспорно, тут право ее и его; тут ее первая любовь, которую она в пять лет не забыла: значит, только его и любила в эти пять лет, а я-то, я зачем тут подвернулся? Что я-то тут и при чем? Отстанись, Митя, и дай дорогу! Да и что я теперь? Теперь уж и без офицера все кончено, хотя бы и не явился он вовсе, то все равно все было бы кончено...»

Вот в каких словах он бы мог приблизительно изложить свои ощущения, если бы только мог рассуждать. Но он уже не мог тогда рассуждать. Вся теперешняя решимость его родилась без рассуждений, в один миг, была сразу почувствована и принята целиком со всеми последствиями еще давеча, у Фени, с первых слов ее. И все-таки, несмотря на всю принятую решимость, было смутно в душе его, смутно до страдания: не дала и решимость спокойствия. Слишком многое стояло сзади его и мучило. И странно было ему это мгновениями: ведь уж написан был им самим себе приговор пером на бумаге: «Казню себя и наказую»; и бумажка лежала тут, в кармане его, приготовленная; ведь уж заряжен пистолет, ведь уж решил же он, как встретит он завтра первый горячий луч «Феба златокудрого», а между тем с прежним, со всем стоявшим сзади и мучившим его, все-таки нельзя было рассчитаться, чувствовал он это до мучения, и мысль о том впивалась в его душу отчаянием. Было одно мгновение в пути, что ему вдруг захотелось остановить Андрея, выскочить из телеги, достать свой заряженный пистолет и покончить все, не дождавшись и рассвета. Но мгновение это пролетело, как искорка. Да и тройка летела, «пожирая пространство», и по мере приближения к цели опять-таки мысль о ней, о ней одной, все сильнее и сильнее захватывала ему дух и отгоняла все остальные страшные призраки от его сердца. О, ему так хотелось поглядеть на нее хоть мельком, хоть издали! «Она теперь с *ним*, ну вот и погляжу, как она теперь с ним, со своим прежним милым, и только этого мне и надо». И никогда еще не подымалось из груди его столько любви к этой роковой в судьбе его женщине, столько нового, неиспытанного еще им никогда чувства, чувства неожиданного даже для него самого, чувства нежного до моления, до исчезновения пред ней. «И исчезну!» – проговорил он вдруг в припадке какого-то истерического восторга.

Скакали уже почти час. Митя молчал, а Андрей, хотя и словоохотливый был мужик, тоже не вымолвил еще ни слова, точно опасался заговорить, и только живо погонял своих «одров», свою гнедую, сухопарую, но резвую тройку. Как вдруг Митя в страшном беспокойстве воскликнул:

– Андрей! А что если спят?

Ему это вдруг вспало на ум, а до сих пор он о том и не подумал.

– Надо думать, что уж легли, Дмитрий Федорович.

Митя болезненно нахмурился: что в самом деле, он прилетит... с такими чувствами... а они спят... спит и она, может быть, тут же... Злое чувство закипело в его сердце.

– Погоняй, Андрей, катай, Андрей, живо! – закричал он в исступлении.

– А может, еще и не полегли, – рассудил, помолчав, Андрей. – Даве Тимофей сказывал, что там много их собралось...

– На станции?

– Не в станции, а у Пластуновых, на постоялом дворе, вольная, значит, станция.

– Знаю; так как же ты говоришь, что много? Где же много? Кто такие? – вскинулся Митя в страшной тревоге при неожиданном известии.

– Да сказывал Тимофей, все господа: из города двое, кто таковы – не знаю, только сказывал Тимофей, двое из здешних господ, да тех двое, будто бы приезжих, а может, и еще кто есть, не спросил я его толково. В карты, говорил, стали играть.

– В карты?

– Так вот, может, и не спят, коли в карты зачали. Думать надо, теперь всего одиннадцатый час в исходе, не более того.

– Погоняй, Андрей, погоняй! – нервно вскричал опять Митя.

– Что это, я вас спрошу, сударь, – помолчав, начал снова Андрей, – вот только бы не осердить мне вас, боюсь, барин.

– Чего тебе?

– Давеча Федосья Марковна легла вам в ноги, молила, барыню чтобы вам не сгубить и еще кого... так вот, сударь, что везу-то я вас туда... Простите, сударь, меня, так от совести, может, глупо что сказал.

Митя вдруг схватил его сзади за плечи.

– Ты ямщик? Ямщик? – начал он исступленно.

– Ямщик...

– Знаешь ты, что надо дорогу давать. Что ямщик, так уж никому и дороги не дать, дави, дескать, я еду!

Нет, ямщик, не дави! Нельзя давить человека, нельзя людям жизнь портить; а коли испортил жизнь – наказуй себя... если только испортил, если только загубил кому жизнь – казни себя и уйди.

Все это вырвалось у Мити как бы в совершенной истерике. Андрей хоть и подивился на барина, но разговор поддержал.

– Правда это, батюшка, Дмитрий Федорович, это вы правы, что не надо человека давить, тоже и мучить, равно как и всякую тварь, потому, всякая тварь – она тварь созданная, вот хоть бы лошадь, потому другой ломит зря, хоша бы и наш ямщик... И удержу ему нет, так он и прет, прямо тебе так и прет.

– Во ад? – перебил вдруг Митя и захохотал своим неожиданным коротким смехом. – Андрей, простая душа, – схватил он опять его крепко за плечи, – говори: попадет Дмитрий Федорович Карамазов во ад али нет, как по-твоему?

– Не знаю, голубчик, от вас зависит, потому вы у нас... Видишь, сударь, когда Сын Божий на кресте был распят и помер, то сошел Он со креста прямо во ад и освободил всех грешников, которые мучились. И застонал ад о том, что уж больше, думал, к нему никто теперь не придет, грешников-то. И сказал тогда аду Господь: «Не стони, аде, ибо приидут к тебе отселева всякие вельможи, управители, главные судьи и богачи, и будешь восполнен так же точно, как был во веки веков, до того времени, пока снова приду». Это точно, это было такое слово...

– Народная легенда, великолепно! Стегни левую, Андрей!

– Так вот, сударь, для кого ад назначен, – стегнул Андрей левую, – а вы у нас, сударь, все одно, как малый ребенок... так мы вас почитаем... И хоть гневливы вы, сударь, это есть, но за простодушие ваше простит Господь.

– А ты, ты простишь меня, Андрей?

– Мне что же вас прощать, вы мне ничего не сделали.

– Нет, за всех, за всех ты один, вот теперь, сейчас, здесь, на дороге, простишь меня за всех? Говори, душа простолюдина!

– Ох, сударь! Боязно вас и везти-то, странный какой-то ваш разговор...

Но Митя не расслышал. Он исступленно молился и дико шептал про себя:

– Господи, прими меня во всем моем беззаконии, но не суди меня. Пропусти мимо без суда Твоего... Не суди, потому что я сам осудил себя; не суди, потому что я люблю Тебя, Господи! Мерзок сам, а люблю Тебя: во ад пошлешь, и там любить буду, и оттуда буду кричать,

что люблю Тебя во веки веков... Но дай и мне долюбить... Здесь, теперь долюбить, всего пять часов до горячего луча Твоего... Ибо люблю царицу души моей. Люблю и не могу не любить. Сам видишь меня всего. Прискачу, паду пред нею: права ты, что мимо меня прошла... Прощай и забудь твою жертву, не тревожь себя никогда!

– Мокрое! – крикнул Андрей, указывая вперед кнутом.

Сквозь бледный мрак ночи зачернелась вдруг твердая масса строений, раскинутых на огромном пространстве. Село Мокрое было в две тысячи душ, но в этот час все оно уже спало, и лишь кое-где из мрака мелькали еще редкие огоньки.

– Гони, гони, Андрей, еду! – воскликнул как бы в горячке Митя.

– Не спят! – проговорил опять Андрей, указывая кнутом на постоянный двор Пластуновых, стоявший сейчас же на въезде и в котором все шесть окон на улицу были ярко освещены.

– Не спят! – радостно подхватил Митя, – греми, Андрей, гони вскачь, звени, подкати с треском. Чтобы знали все, кто приехал! Я еду! Сам еду! – иступленно восклицал Митя.

Андрей пустил измученную тройку вскачь и действительно с треском подкатил к высокому крылечку и осадил своих запаренных, полузадохшихся коней. Митя соскочил с телеги, и как раз хозяин двора, правда, уходивший уже спать, полюбопытствовал заглянуть с крылечка, кто это таков так подкатил.

– Трифон Борисыч, ты?

Хозяин нагнулся, взгляделся, стремглав сбежал с крылечка и в подобострастном восторге кинулся к гостю.

– Батюшка, Дмитрий Федорыч! Вас ли вновь видим?

Этот Трифон Борисыч был плотный и здоровый мужик, среднего роста, с несколько толстоватым лицом, виду строгого и непримиримого, с мокринскими мужиками особенно, но имевший дар быстро изменять лицо свое на самое подобострастное выражение, когда чувал взять выгоду. Ходил по-русски, в рубахе с косым воротом и в поддевке, имел деньжонки значительные, но мечтал и о высшей роли неустанно. Половина с лишком мужиков была у него в когтях, все были ему должны кругом. Он арендовал у помещиков землю и сам покупал, а обрабатывали ему мужики эту землю за долг, из которого никогда не могли выйти. Был он вдов и имел четырех взрослых дочерей; одна была уже вдовой, жила у него с двумя малолетками, ему внучками, и работала на него как поденщица. Другая дочка-мужичка была замужем за чиновником, каким-то выслужившимся писаречком, и в одной из комнат постоянного двора на стенке можно было видеть в числе семейных фотографий, миниатюрнейшего размера, фотографию и этого чиновничка в мундире и в чиновных погонах. Две младшие дочери в храмовой праздник али отправляясь куда в гости, надевали голубые или зеленые платья, сшитые по-модному, с обтяжкой сзади и с аршинным хвостом, но на другой же день утром, как и во всякий день, подымались чем свет и с березовыми вениками в руках выметали горницы, выносили помои и убирали сор после постояльцев. Несмотря на приобретенные уже тысячки, Трифон Борисыч очень любил сорвать с постояльца кутящего и помня, что еще месяца не прошло, как он в одни сутки поживился от Дмитрия Федоровича, во время кутежа его с Грушенькой, двумя сотнями рубликов слишком, если не всеми тремя, встретил его теперь радостно и стремительно, уже по тому одному, как подкатил ко крыльцу его Митя, почуяв снова добычу.



- Батюшка, Дмитрий Федорович, вас ли вновь обретаем?
- Стой, Трифон Борисыч, – начал Митя, – прежде всего самое главное: где она?
- Аграфена Александровна? – тотчас понял хозяин, зорко взглядываясь в лицо Мити, – да здесь и она... пребывает...
- С кем, с кем?
- Гости приезжие-с... Один-то чиновник, надоть быть, из поляков, по разговору судя, он-то за ней и послал лошадей отсюда; а другой с ним товарищ его, али попутчик, кто разберет; по-штатски одеты...

- Что же, кутят? Богачи?
- Какое кутят? Небольшая величина, Дмитрий Федорович.
- Небольшая? Ну, а другие?
- Из города эти, двое господ... Из Черней возвращались, да и остались. Один-то, молодой, надоть быть, родственник господину Миусову, вот только как звать забыл... а другого, надо полагать, вы тоже знаете: помещик Максимов, на богомолье, говорит, заехал в монастырь ваш там, да вот с родственником этим молодым господина Миусова и ездит...
- Только и всех?
- Только.
- Стой, молчи, Трифон Борисыч, говори теперь самое главное: что она, как она?
- Да вот давеча прибыла и сидит с ними.
- Весела? Смеется?
- Нет, кажись, не очень смеется... Даже скучная совсем сидит, молодому человеку волосы расчесывала.
- Это поляку, офицеру?
- Да какой же он молодой, да и не офицер он вовсе; нет, сударь, не ему, а Миусову племяннику этому, молодому-то... вот только имя забыл.
- Калганов?
- Именно Калганов.
- Хорошо, сам решу. В карты играют?
- Играли, да перестали, чай отпили, наливки чиновник потребовал.
- Стой, Трифон Борисыч, стой, душа, сам решу. Теперь отвечай самое главное: нет цыган?
- Цыган теперь вовсе не слышно, Дмитрий Федорович, согнало начальство, а вот жида здесь есть, на цымбалах играют и на скрипках, в Рождественской, так это можно бы за ними хоша и теперь послать. Прибудут.
- Послать, непременно послать! – вскричал Митя. – А девок можно поднять, как тогда, Марью особенно, Степаниду тоже, Арину. Двести рублей за хор!
- Да за этикие деньги я все село тебе подыму, хоть и полегли теперь дрыхнуть. Да и стоят ли, батюшка Дмитрий Федорович, здешние мужики такой ласки, али вот девки? Этакой подлости да грубости такую сумму определять! Ему ли, нашему мужику, цыгарки курить, а ты им давал. Ведь от него смердит, от разбойника. А девки все, сколько их ни есть, вшивые. Да я своих дочерей тебе даром подыму, не то что за такую сумму, полегли только спать теперь, так я их ногой в спину напинаю да для тебя петь заставлю. Мужиков намедни шампанским поили, э-эх!
- Трифон Борисыч напрасно сожалел Митю: он тогда у него сам с полдюжины бутылок шампанского утаил, а под столом сторублевую бумажку поднял и зажал себе в кулак. Так и осталась она у него в кулаке.
- Трифон Борисыч, растряс я тогда не одну здесь тысячку. Помнишь?
- Растрясли, голубчик, как вас не вспомнить, три тысячки у нас, небось, оставили.
- Ну, так и теперь с тем приехал, видишь.
- И он вынул и поднес к самому носу хозяина свою пачку кредиток.
- Теперь слушай и понимай: через час вино придет, закуски, пироги и конфеты – все тотчас же туда наверх. Этот ящик, что у Андрея, туда тоже сейчас наверх, раскрыть и тотчас же шампанское подавать... А главное – девок, девок, и Марью чтобы непременно...
- Он повернулся к телеге и вытащил из-под сиденья свой ящик с пистолетами.
- Расчет, Андрей, принимай! Вот тебе пятнадцать рублей за тройку, а вот пятьдесят на водку... за готовность, за любовь твою... Помни барина Карамазова.

– Боюсь я, барин... – заколебался Андрей, – пять рублей на чай пожалуйста, а больше не приму. Трифон Борисыч свидетелем. Уж простите глупое слово мое...

– Чего боишься, – обмерил его взглядом Митя, – ну и черт с тобой, коли так! – крикнул он, бросая ему пять рублей. – Теперь, Трифон Борисыч, проводи меня тихо и дай мне на них на всех перво-наперво глазком глянуть, так, чтоб они меня не заметили. Где они там, в голубой комнате?

Трифон Борисыч опасливо поглядел на Митю, но тотчас же послушно исполнил требуемое: осторожно провел его в сени, сам вошел в большую первую комнату, соседнюю с той, в которой сидели гости, и вынес из нее свечу. Затем потихоньку ввел Митю и поставил его в углу, в темноте, откуда бы он мог свободно разглядеть собеседников, ими невидимый. Но Митя недолго глядел, да и не мог разглядывать: он увидел ее, и сердце его застучало, в глазах помутилось. Она сидела за столом сбоку, в креслах, а рядом с нею, на диване, хорошенький собою и еще очень молодой Калганов; она держала его за руку и, кажется, смеялась, а тот, не глядя на нее, что-то громко говорил, как будто с досадой, сидевшему через стол напротив Грушеньки Максиму. Максимов же чему-то очень смеялся. На диване сидел *он*, а подле дивана, на стуле, у стены, какой-то другой незнакомец. Тот, который сидел на диване развалившись, курил трубку, и у Мити лишь промелькнуло, что это какой-то толстоватый и широколицый человек, ростом, должно быть, невысокий и как будто на что-то сердитый. Товарищ же его, другой незнакомец, показался Мите что-то уж чрезвычайно высокого роста; но более он ничего не мог разглядеть. Дух у него захватило. И минуты он не смог выстоять, поставил ящик на комод и прямо, холодея и замирая, направился в голубую комнату к собеседникам.

– Ай! – взвизгнула в испуге Грушенька, заметив его первая.

## VII Прежний и бесспорный

Митя скорыми и длинными своими шагами подступил вплоть к столу.

– Господа, – начал он громко, почти крича, но заикаясь на каждом слове, – я... я ничего! Не бойтесь, – воскликнул он, – я ведь ничего, ничего, – повернулся он вдруг к Грушеньке, которая отклонилась на кресле в сторону Калганова и крепко уцепилась за его руку. – Я... Я тоже еду. Я до утра. Господа, проезжому путешественнику... можно с вами до утра? Только до утра, в последний раз, в этой самой комнате?

Это уже он dokonчил, обращаясь к толстенькому человечку, сидевшему на диване с трубкой. Тот важно отнял от губ своих трубку и строго произнес:

– Пане, мы здесь приватно. Имеются иные покои.

– Да это вы, Дмитрий Федорович, да чего это вы? – отозвался вдруг Калганов, – да садитесь с нами, здравствуйте!

– Здравствуйте, дорогой человек... и бесценный! Я всегда уважал вас... – радостно и стремительно отозвался Митя, тотчас же протянув ему через стол свою руку.

– Ай, как вы крепко пожали! Совсем сломали пальцы, – засмеялся Калганов.

– Вот он так всегда жмет, всегда так! – весело отозвалась, еще робко улыбаясь, Грушенька, кажется, вдруг убедившаяся по виду Мити, что тот не будет буянить, с ужасным любопытством и все еще с беспокойством в него вглядываясь. Было что-то в нем чрезвычайно ее поразившее, да и вовсе не ожидала она от него, что в такую минуту он так войдет и так заговорит.

– Здравствуйте-с, – сладко отозвался слева и помещик Максимов. Митя бросился и к нему.

– Здравствуйте, и вы тут, как я рад, что и вы тут! Господа, господа, я... – Он снова обратился к пану с трубкой, видимо принимая его за главного здесь человека. – Я летел... Я

хотел последний день и последний час мой провести в этой комнате, в этой самой комнате... где и я обожал... мою царицу!.. Прости, пане! – крикнул он исступленно, – я летел и дал клятву... О, не бойтесь, последняя ночь моя! Выпьем, пане, мировую! Сейчас подадут вино... Я привез вот это. – Он вдруг для чего-то вытащил свою пачку кредиток. – Позволь, пане! Я хочу музыки, грома, гаму, всего, что прежде... Но червь, ненужный червь проползет по земле, и его не будет! День моей радости помяну в последнюю ночь мою!..

Он почти задохся; он многое, многое хотел сказать, но выскочили одни странные восклицания. Пан неподвижно смотрел на него, на пачку его кредиток, смотрел на Грушеньку и был в видимом недоумении.

– Ежели позволит моя крулева... – начал было он.

– Да что крулева, это королева, что ли? – перебила вдруг Грушенька. – И смешно мне на вас, как вы всё говорите. Садись, Митя, и что это ты говоришь? Не пугай, пожалуйста. Не будешь пугать, не будешь? Коли не будешь, так я тебе рада...

– Мне, мне пугать? – вскричал вдруг Митя, вскинув вверх свои руки. – О, идите мимо, проходите, не помешаю!.. – И вдруг он совсем неожиданно для всех и, уж конечно, для себя самого бросился на стул и залился слезами, отвернув к противоположной стене свою голову, а руками крепко обхватив спинку стула, точно обнимая ее.

– Ну вот, ну вот, экой ты! – укоризненно воскликнула Грушенька. – Вот он такой точно ходил ко мне, – вдруг заговорит, а я ничего не понимаю. А один раз также заплакал, а теперь вот в другой – экой стыд! С чего ты плачешь-то? *Было бы еще с чего?* – прибавила она вдруг загадочно и с каким-то раздражением напирая на свое словечко.

– Я... я не плачу... Ну, здравствуйте! – повернулся он в один миг на стуле и вдруг засмеялся, но не деревянным своим отрывистым смехом, а каким-то неслышным длинным, нервозным и сотрясающим смехом.

– Ну, вот опять... Ну, развеселись, развеселись! – уговаривала его Грушенька. – Я очень рада, что ты приехал, очень рада, Митя, слышишь ты, что я очень рада? Я хочу, чтоб он сидел здесь с нами, – повелительно обратилась она как бы ко всем, хотя слова ее, видимо, относились к сидевшему на диване. – Хочу, хочу! А коли он уйдет, так и я уйду, вот что! – прибавила она с загоревшимися вдруг глазами.

– Что изволит моя царица – то закон! – произнес пан, галантно поцеловав ручку Грушеньки. – Прошу пана до нашей компании! – обратился он любезно к Мите.

Митя опять привскочил было с видимым намерением снова разразиться тирадой, но вышло другое:

– Выпьем, пане! – оборвал он вдруг вместо речи. Все рассмеялись.

– Господи! А я думала, он опять говорить хочет, – нервно воскликнула Грушенька. – Слышишь, Митя, – настойчиво прибавила она, – больше не вскакивай, а что шампанского привез, так это славно. Я сама пить буду, а наливки я терпеть не могу. А лучше всего, что сам прикатил, а то скучища... Да ты кутить, что ли, приехал опять? Да спрячь деньги-то в карман! Откуда столько достал?

Митя, у которого в руке все еще скомканы были кредитки, сунул их в карман. Он покраснел. В эту самую минуту хозяин принес откупоренную бутылку шампанского на подносе и стаканы. Митя схватил было бутылку, но так растерялся, что забыл, что с ней надо делать. Взял у него ее уже Калганов и разлил за него вино.

– Да еще, еще бутылку! – закричал Митя хозяину, и, забыв чокнуться с паном, которого так торжественно приглашал выпить с ним мировую, вдруг выпил весь свой стакан один, никого не дождавшись. Все лицо его вдруг изменилось. Вместо торжественного и трагического выражения, с которым он вошел, в нем явилось как бы что-то младенческое. Он вдруг как бы весь смирился и принизился. Он смотрел на всех робко и радостно, часто и нервно хихикал, с благодарным видом виноватой собачонки, которую опять приласкали и опять впустили. Он как

будто все забыл и оглядывал всех с восхищением, с детской улыбкой. На Грушеньку смотрел беспрерывно смеясь и придвинул свой стул вплоть к самому ее креслу. Помаленьку разглядел и обоих панов, хотя еще мало осмыслив их. Пан на диване поражал его своею осанкой, польским акцентом, а главное – трубкой. «Ну, что же такое, ну и хорошо, что он курит трубку», – созерцал Митя. Несколько обрюзгое, почти уже сорокалетнее лицо пана с очень маленьким носиком, под которым виднелись два претоненьких усика, нафабранные и нахальные, не возбудило в Мите тоже ни малейших пока вопросов. Даже очень дрянненький паричок пана, сделанный в Сибири, с преглупо зачесанными вперед височками, не поразил особенно Митю: «Значит, так и надо, коли парик», – блаженно продолжал он созерцать. Другой же пан, сидевший у стены, более молодой, чем пан на диване, смотревший на всю компанию дерзко и задорно и с молчаливым презрением слушавший общий разговор, опять-таки поразил Митю только очень высоким своим ростом, ужасно непропорциональным с паном, сидевшим на диване. «Коли встанет на ноги, будет вершков одиннадцати», – мелькнуло в голове Мити. Мелькнуло у него тоже, что этот высокий пан, вероятно, друг и приспешник пану на диване, как бы «телохранитель его», и что маленький пан с трубкой, конечно, командует паном высоким. Но и это все казалось Мите ужасно как хорошо и бесспорно. В маленькой собачке замерло всякое соперничество. В Грушеньке и в загадочном тоне нескольких фраз ее он еще ничего не понял, а понимал лишь, сотрясаясь всем сердцем своим, что она к нему ласкова, что она его «просила» и подле себя посадила. Он был вне себя от восхищения, увидев, как она хлебнула из стакана вино. Молчание компании как бы вдруг, однако, поразило его, и он стал обводить всех ожидающими чего-то глазами: «Что же мы, однако, сидим, что же вы ничего не начинаете, господа?» – как бы говорил ослабленный взор его.

– Да вот он все врет, и мы тут все смеялись, – начал вдруг Калганов, точно угадав его мысль и показывая на Максимова.

Митя стремительно уставился на Калганова и потом тотчас же на Максимова.

– Врет? – рассмеялся он своим коротким деревянным смехом, тотчас же чему-то обрадовавшись, – ха-ха!

– Да. Представьте, он утверждает, что будто вся наша кавалерия в двадцатых годах пережилась на польках; но это ужасный вздор, не правда ли?

– На польках? – подхватил опять Митя и уже в решительном восхищении.

Калганов очень хорошо понимал отношения Мити к Грушеньке, догадывался и о пане, но его все это не так занимало, даже, может быть, вовсе не занимало, а занимал его всего более Максимов. Попал он сюда с Максимовым случайно и панов встретил здесь на постоялом дворе в первый раз в жизни. Грушеньку же знал прежде и раз даже был у нее с кем-то; тогда он ей не понравился. Но здесь она очень ласково на него поглядывала, до приезда Мити даже ласкала его, но он как-то оставался бесчувственным. Это был молодой человек, лет не более двадцати, щегольски одетый, с очень милым беленьким личиком и с прекрасными густыми русыми волосами. Но на этом беленьком личике были прелестные светло-голубые глаза, с умным, а иногда и с глубоким выражением, не по возрасту даже, несмотря на то что молодой человек иногда говорил и смотрел совсем как дитя и нисколько этим не стеснялся, даже сам это сознавая. Вообще он был очень своеобразен, даже капризен, хотя всегда ласков. Иногда в выражении лица его мелькало что-то неподвижное и упрямое: он глядел на вас, слушал, а сам как будто упорно мечтал о чем-то своем. То становился вял и ленив, то вдруг начинал волноваться иногда, по-видимому, от самой пустой причины.

– Вообразите, я его уже четыре дня вожу с собою, – продолжал он, немного как бы растягивая лениво слова, но безо всякого фатовства, а совершенно натурально. – Помните, с тех пор, как ваш брат его тогда из коляски вытолкнул и он полетел. Тогда он меня очень этим заинтересовал, и я взял его в деревню, а он все теперь врет, так что с ним стыдно. Я его назад везу...

– Пан польской пани не видзел и муви что быть не мбгло, – заметил пан с трубкой Максимову.

Пан с трубкой говорил по-русски порядочно, по крайней мере гораздо лучше, чем представлялся. Русские слова, если и употреблял их, коверкал на польский лад.

– Да ведь я и сам был женат на польской пани-с, – отхихикнулся в ответ Максимов.

– Ну, так вы разве служили в кавалерии? Ведь это вы про кавалерию говорили. Так разве вы кавалерист? – ввязался сейчас Калганов.

– Да, конечно, разве он кавалерист? Ха-ха! – крикнул Митя, жадно слушавший и быстро переводивший свой вопросительный взгляд на каждого, кто заговорит, точно бог знает что ожидал от каждого услышать.

– Нет-с, видите-с, – повернулся к нему Максимов, – я про то-с, что эти там панёнки... хорошенькие-с... как оттанцуют с нашим уланом мазурку... как оттанцовала она с ним мазурку, так тотчас и вскочит на колени, как кошечка-с... беленькая-с... а пан отец и пани матка видят и позволяют... и позволяют-с... а улан-то завтра пойдет и руку предложит... вот-с... и предложит руку, хи-хи! – хихикнул, закончив, Максимов.

– Пан – лайдак! – проворчал вдруг высокий пан на стуле и переложил ногу на ногу. Мите только бросился в глаза огромный смазной сапог его с толстою и грязною подошвой. Да и вообще оба пана были одеты довольно засаленно.

– Ну, вот и лайдак! Чего он бранится? – рассердилась вдруг Грушенька.

– Пани Агриппина, пан видзел в польском краю хлопок, а не шляхетных паней, – заметил пан с трубкой Грушеньке.

– Можешь нáто раховаць! – презрительно отрезал высокий пан на стуле.

– Вот еще! Дайте ему говорить-то! Люди говорят, чего мешать? С ними весело, – огрызнулась Грушенька.

– Я не мешаю, пани, – значительно заметил пан в паричке с продолжительным взглядом ко Грушеньке и, важно замолчав, снова начал сосать свою трубку.

– Да нет, нет, это пан теперь правду сказал, – загорячился опять Калганов, точно бог знает о чем шло дело. – Ведь он в Польше не был, как же он говорит про Польшу? Ведь вы же не в Польше женились, ведь нет?

– Нет-с, в Смоленской губернии-с. А только ее улан еще прежде того вывез-с, супругу-то мою-с, будущую-с, и с пани-маткой, и с тантой, и еще с одной родственницей со взрослым сыном, это уж из самой Польши, из самой... и мне уступил. Это один наш поручик, очень хороший молодой человек. Сначала он сам хотел жениться, да и не женился, потому что она оказалась хромая...

– Так вы на хромой женились? – воскликнул Калганов.

– На хромой-с. Это уж они меня оба тогда немножко обманули и скрыли. Я думал, что она подпрыгивает... она все подпрыгивала, я и думал, что она это от веселости...

– От радости, что за вас идет? – завопил каким-то детски звонким голосом Калганов.

– Да-с, от радости-с. А вышло, что совсем от иной причины-с. Потом, когда мы обвенчались, она мне после венца в тот же вечер и призналась, и очень чувствительно извинения просила, чрез лужу, говорит, в молодых годах однажды перескочила и ножку тем повредила, хи-хи!..

Калганов так и залился самым детским смехом и почти упал на диван. Рассмеялась и Грушенька. Митя же был на верху счастья.

– Знаете, знаете, это он теперь уже вправду, это он теперь не лжет! – восклицал, обращаясь к Мите, Калганов. – И знаете, он ведь два раза был женат – это он про первую жену говорит, – а вторая жена его, знаете, сбежала и жива до сих пор, знаете вы это?

– Неужто? – быстро повернулся к Максиму Митя, выразив необыкновенное изумление в лице.

– Да-с, сбежала-с, я имел эту неприятность, – скромно подтвердил Максимов. – С одним мусью-с. А главное, всю деревушку мою перво-наперво на одну себя предварительно отписала. Ты, говорит, человек образованный, ты и сам найдешь себе кусок. С тем и посадила. Мне раз один почтенный архиерей и заметил: у тебя одна супруга была хромая, а другая уж чресчур легконогая, хи-хи!

– Послушайте, послушайте! – так и кипел Калганов, – если он и лжет, – а он часто лжет – то он лжет единственно, чтобы доставить всем удовольствие: это ведь не подло, не подло? Знаете, я люблю его иногда. Он очень подл, но он натурально подл, а? Как вы думаете? Другой подличает из-за чего-нибудь, чтобы выгоду получить, а он просто, он от природы... Вообразите, например, он претендует (вчера всю дорогу спорил), что Гоголь в «Мертвых душах» это про него сочинил. Помните, там есть помещик Максимов, которого высек Ноздрев и был предан суду: «За нанесение помещику Максиму личной обиды розгами в пьяном виде» – ну, помните? Так что ж, представьте, он претендует, что это он и был и что это его высекли. Ну, может ли это быть? Чичиков ездил, самое позднее, в двадцатых годах, в начале, так что совсем годы не сходятся. Не могли его тогда высесть. Ведь не могли, не могли?

Трудно было представить, из-за чего так горячился Калганов, но горячился он искренно. Митя беззаветно входил в его интересы.

– Ну, да ведь коли высекли! – крикнул он хохоча.

– Не то чтобы высекли-с, а так, – вставил вдруг Максимов.

– Как так? Или высекли, или нет?

– Ктура годзина, пане? (который час?) – обратился со скучающим видом пан с трубкой к высокому пану на стуле. Тот вскинул в ответ плечами: часов у них у обоих не было.

– Отчего не поговорить? Дайте и другим говорить. Коли вам скучно, так другие и не говори, – вскинулась опять Грушенька, видимо нарочно привязываясь. У Мити как бы в первый раз что-то промелькнуло в уме. На этот раз пан ответил уже с видимою раздражительностью:

– Пани, я ниц не мувен против, ниц не поведзялем. (Я не противоречу, я ничего не сказал.)

– Ну да хорошо, а ты рассказывай, – крикнула Грушенька Максиму. – Что ж вы все замолчали?

– Да тут и рассказывать-то нечего-с, потому все это одни глупости, – подхватил тотчас Максимов с видимым удовольствием и капельку жеманясь, – да и у Гоголя все это только в виде аллегорическом, потому что все фамилии поставил аллегорические: Ноздрев-то ведь был не Ноздрев, а Носов, а Кувшинников – это уже совсем даже и не похоже, потому что он был Шкворнев. А Фенарди действительно был Фенарди, только не итальянец, а русский, Петров-с, и мамзель Фенарди была хорошенькая-с, и ножки в трико, хорошенькие-с, юбочка коротенькая в блестках, и это она вертелась, да только не четыре часа, а всего только четыре минутки-с... и всех обольстила...

– Да за что высекли-то, высекли-то тебя за что? – вопил Калганов.

– За Пирона-с, – ответил Максимов.

– За какого Пирона? – крикнул Митя.

– За французского известного писателя, Пирона-с. Мы тогда все вино пили в большом обществе, в трактире, на этой самой ярмарке. Они меня и пригласили, а я перво-наперво стал эпиграммы говорить: «Ты ль это, Буало, какой смешной наряд». А Буало-то отвечает, что он в маскарад собирается, то есть в баню-с, хи-хи, они и приняли на свой счет. А я поскорее другую сказал, очень известную всем образованным людям, едкую-с:

Ты Сафо, я Фаон, об этом я не спорю,  
Но, к моему ты горю,

Пути не знаешь к морю.

Они еще пуще обиделись и начали меня неприлично за это ругать, а я как раз, на беду себе, чтобы поправить обстоятельства, тут и рассказал очень образованный анекдот про Пирона, как его не приняли во французскую академию, а он, чтоб отомстить, написал свою эпитафию для надгробного камня:

Ci-gît Piron qui ne fut rien  
Pas même académicien<sup>3</sup>.

Они взяли да меня и высекли.

– Да за что же, за что?

– За образование мое. Мало ли из-за чего люди могут человека высечь, – кротко и нравуучительно заключил Максимов.

– Э, полно, скверно все это, не хочу слушать, я думала, что веселое будет, – оборвала вдруг Грушенька. Митя всполохнулся и тотчас же перестал смеяться. Высокий пан поднялся с места и с высокомерным видом скучающего не в своей компании человека начал шагать по комнате из угла в угол, заложив за спину руки.

– Ишь зашагал! – презрительно поглядела на него Грушенька. Митя забеспокоился, к тому же заметил, что пан на диване с раздражительным видом поглядывает на него.

– Пан, – крикнул Митя, – выпьем, пане! И с другим паном тоже: выпьем, панове! – он мигом сдвинул три стакана и разлил в них шампанское.

– За Польшу, панове, пью за вашу Польшу, за польский край! – воскликнул Митя.

– Бардзо ми то мило, пане, выпьем (это мне очень приятно, пане, выпьем), – важно и благосклонно проговорил пан на диване и взял свой стакан.

– И другой пан, как его, эй, ясневельможный, бери стакан! – хлопотал Митя.

– Пан Врублевский, – подсказал пан на диване.

Пан Врублевский, раскачиваясь, подошел к столу и стоя принял свой стакан.

– За Польшу, панове, ура! – прокричал Митя, подняв стакан.

Все трое выпили. Митя схватил бутылку и тотчас же налил опять три стакана.

– Теперь за Россию, панове, и побратаемся!

– Налей и нам, – сказала Грушенька, – за Россию и я хочу пить.

– И я, – сказал Калганов.

– Да и я бы тоже-с... за Россеюшку, старую бабусеньку, – подхихикнул Максимов.

– Все, все! – восклицал Митя. – Хозяин, еще бутылки!

Принесли все три оставшиеся бутылки из привезенных Митей. Митя разлил.

– За Россию, ура! – провозгласил он снова. Все, кроме панов, выпили, а Грушенька выпила разом весь свой стакан. Панове же и не дотронулись до своих.

– Как же вы, панове? – воскликнул Митя. – Так вы так-то?

Пан Врублевский взял стакан, поднял его и зычным голосом проговорил:

– За Россию в пределах до семьсот семьдесят второго года!

– Ото бардзо пенкне! (Вот так хорошо!) – крикнул другой пан, и оба разом осушили свои стаканы.

– Дурачье же вы, панове! – сорвалось вдруг у Мити.

– Па-не!! – прокричали оба пана с угрозою, наставившись на Митю, как петухи. Особенно вскипел пан Врублевский.

---

<sup>3</sup> Здесь покоится Пирон, который был никем, даже не академиком (франц.).

– Але не можно не мець слабосьци до своего краю? – возгласил он. (Разве можно не любить своей стороны?)

– Молчать! Не ссориться! Чтобы не было ссор! – крикнула повелительно Грушенька и стукнула ножкой об пол. Лицо ее загорелось, глаза засверкали. Только что выпитый стакан сказался. Митя страшно испугался.

– Панове, простите! Это я виноват, я не буду. Врублевский, пан Врублевский, я не буду!..

– Да молчи хоть ты-то, садись, экой глупый! – со злобною досадою огрызнулась на него Грушенька.

Все уселись, все примолкли, все смотрели друг на друга.

– Господа, всему я причиной! – начал опять Митя, ничего не понявший в возгласе Грушеньки, – ну, чего же мы сидим? Ну, чем же нам заняться... чтобы было весело, опять весело?

– Ах, в самом деле ужасно не весело, – лениво промямлил Калганов.

– В банчик бы-с сыграть-с, как давеча... – хихикнул вдруг Максимов.

– Банк? Великолепно! – подхватил Митя, – если только панове...

– Пузьно, пане! – как бы нехотя отозвался пан на диване...

– То правда, – поддакнул и пан Врублевский.

– Пузьно? Это что такое пузьно? – спросила Грушенька.

– То значи поздно, пани, поздно, час поздний, – разъяснил пан на диване.

– И все-то им поздно, и все-то им нельзя! – почти взвизгнула в досаде Грушенька. – Сами скучные сидят, так и другим чтобы скучно было. Пред тобой, Митя, они все вот этак молчали и надо мной фуфырились...

– Богиня моя! – крикнул пан на диване, – цо мувишь, то сень стане. Видзен неласкен, и естем смутны. (Вижу нерасположение, оттого я и печальный.) Естем готув (я готов), пане, – закончил он, обращаясь к Мите.

– Начинай, пане! – подхватил Митя, выхватывая из кармана свои кредитки и выкладывая из них две сторублевых на стол.

– Я тебе много, пан, хочу проиграть. Бери карты, закладывай банк!

– Карты чтоб от хозяина, пане, – настойчиво и серьезно произнес маленький пан.

– То najlepши спосуб (самый лучший способ), – поддакнул пан Врублевский.

– От хозяина? Хорошо, понимаю, пусть от хозяина, это вы хорошо, панове! Карты! – скомандовал Митя хозяину.

Хозяин принес нераспечатанную игру карт и объявил Мите, что уж собираются девки, жидки с цимбалами придут тоже, вероятно, скоро, а что тройка с припасами еще не успела прибыть. Митя выскочил из-за стола и побежал в соседнюю комнату сейчас же распорядиться. Но девок всего пришло только три, да и Марья не было. Да и сам он не знал, как ему распорядиться и зачем он выбежал: велел только достать из ящика гостинцев, леденцов и тягушек и оделить девок. «Да Андрею водки, водки Андрею! – приказал он наскоро, – я обидел Андрея!» Тут его вдруг тронул за плечо прибежавший вслед за ним Максимов.



– Дайте мне пять рублей, – прошептал он Мите, – я бы тоже в банчик рискнул, хи-хи!

– Прекрасно, великолепно! Берите десять, вот! – Он вытащил опять все кредитки из кармана и отыскал десять рублей. – А проиграешь, еще приходи, еще приходи...

– Хорошо-с, – радостно прошептал Максимов и побежал в залу. Воротился тотчас и Митя и извинился, что заставил ждать себя. Паны уже уселись и распечатали игру. Смотрели же гораздо приветливее, почти ласково. Пан на диване закурил новую трубку и приготовился метать; в лице его изобразилась даже некая торжественность.

– На мейсца, панове! – провозгласил пан Врублевский.

– Нет, я не стану больше играть, – отозвался Калганов, – я давеча уж им проиграл пятьдесят рублей.

– Пан был неценсливый, пан может быть опять ценсливым, – заметил в его сторону пан на диване.

– Сколько в банке? Ответный? – горячился Митя.

– Слухам, пане, може сто, може двесьце, сколько ставить будешь.

– Миллион! – захохотал Митя.

– Пан капитан может слышал про пана Подвысоцкого?

– Какого Подвысоцкого?

– В Варшаве банк ответный ставит кто идет. Приходит Подвысоцкий, видит тысёнц злотых, ставит: ва-банк. Бэнкер муви: «Пане Подвысоцкий, ставишь злото, чи на гóнор?» – На гóнор, пане», – муви Подвысоцкий. «Тем лепей, пане». Бэнкер мечет талью, Подвысоцкий берет тысёнц злотых. «Почекай, пане», – муви бэнкер, вынул ящик и дает миллион, – «Бери, пане, ото есть твой рахунок» (вот твой счет)! Банк был миллионным. «Я не знал того», – муви Подвысоцкий. «Пане Подвысоцкий, – муви бэнкер, – ты ставилесь на гóнор, и мы на гóнор». Подвысоцкий взял миллион.

– Это неправда, – сказал Калганов.

– Пане Калганов, в шляхетной компании так мувиць не пржистои (в порядочном обществе так не говорят).

– Так и отдаст тебе польский игрок миллион! – воскликнул Митя, но тотчас спохватился. – Прости, пане, виновен, вновь виновен, отдаст, отдаст миллион, на гóнор, на польску честь! Видишь, как я говорю по-польски, ха-ха! Вот ставлю десять рублей, идет – валет.

– А я рублик на дамочку, на червонную, на хорошенькую. на паненочку, хи-хи! – прохихикал Максимов, выдвинув свою даму, и, как бы желая скрыть от всех, придвинулся вплоть к столу и наскоро перекрестился под столом. Митя выиграл. Выиграл и рублик.

– Угол! – крикнул Митя.

– А я опять рублик, я семпелечком, я маленьким, маленьким семпелечком, – блаженно бормотал Максимов в страшной радости, что выиграл рублик.

– Бита! – крикнул Митя. – Семерку на *пе*.

Убили и на *пе*.

– Перестаньте, – сказал вдруг Калганов.

– На *пе*, на *пе*, – удваивал ставки Митя, и что ни ставил на *пе* – все убивалось. А рублики выигрывали.

– На *пе*, – рявкнул в ярости Митя.

– Двесьце проиграл, пане. Еще ставишь двесьце? – осведомился пан на диване.

– Как, двести уж проиграл? Так еще двести! Все двести на *пе*! – И, выхватив из кармана деньги, Митя бросил было двести рублей на даму, как вдруг Калганов накрыл ее рукой:

– Довольно! – крикнул он своим звонким голосом.

– Что вы это? – уставился на него Митя.

– Довольно, не хочу! Не будете больше играть.

– Почему?

– А потому. Плюньте и уйдите, вот почему. Не дам больше играть!

Митя глядел на него в изумлении.

– Брось, Митя, он, может, правду говорит; и без того много проиграл, – со странною ноткой в голосе произнесла и Грушенька. Оба пана вдруг поднялись с места со страшно обиженным видом.

– Жартуешь (шутить), пане? – проговорил маленький пан, строго осматривая Калганова.

– Як сен поважашь то робиць, пане! (Как вы смеете это делать!) – рявкнул на Калганова и пан Врублевский.

– Не смей, не смей кричать! – крикнула Грушенька. – Ах, петухи индейские!

Митя смотрел на них на всех поочередно; но что-то вдруг поразило его в лице Грушеньки и в тот же миг что-то совсем новое промелькнуло и в уме его, – странная новая мысль!

– Пани Агриппина! – начал было маленький пан, весь красный от задора, как вдруг Митя, подойдя к нему, хлопнул его по плечу.

– Ясновельможный, на два слова.

– Чего хцешь, пане? (Что угодно?)

– В ту комнату, в тот покой, два словечка скажу тебе хороших, самых лучших, останешься доволен.

Маленький пан удивился и опасливо поглядел на Митю. Тотчас же, однако, согласился, но с непременным условием, чтобы шел с ним и пан Врублевский.

– Телохранитель-то? Пусть и он, и его надо! Его даже непременно! – воскликнул Митя. – Марш, панове!

– Куда это вы? – тревожно спросила Грушенька.

– В один миг вернемся, – ответил Митя. Какая-то смелость, какая-то неожиданная бодрость засверкала в лице его; совсем не с тем лицом вошел он час назад в эту комнату. Он провёл панов в комнатку направо, не в ту, в большую, в которой собирался хор девок и накрывался стол, а в спальню, в которой помещались сундуки, укладки и две большие кровати с ситцевыми подушками горой на каждой. Тут на маленьком тесовом столике, в самом углу, горела свечка. Пан и Митя расположились у этого столика друг против друга, а огромный пан Врублевский сбоку их, заложив руки за спину. Паны смотрели строго, но с видимым любопытством.

– Чем моген служиць пану? – пролепетал маленький пан.

– А вот чем, пане, я много говорить не буду: вот тебе деньги, – он вытащил свои кредитки, – хочешь три тысячи, бери и уезжай куда знаешь.

Пан смотрел пытливо, во все глаза, так и впился взглядом в лицо Мити.

– Тржи тысенцы, пане? – он переглянулся с Врублевским.

– Тржи, панове, тржи! Слушай, пане, вижу, что ты человек разумный. Бери три тысячи и убирайся ко всем чертям, да и Врублевского с собой захвати – слышишь это? Но сейчас же, сию минуту, и это навеки, понимаешь, пане, навеки вот в эту самую дверь и выйдешь. У тебя что там: пальто, шуба? Я тебе вынесу. Сию же секунду тройку тебе заложат и – до видзенья, пане! А?

Митя уверенно ждал ответа. Он не сомневался. Нечто чрезвычайно решительное мелькнуло в лице пана.

– А рубли, пане?

– Рубли-то, вот как, пане: пятьсот рублей сию минуту тебе на извозчика и в задаток, а две тысячи пятьсот завтра в городе – честью клянусь, будут, достану из-под земли! – крикнул Митя.

Поляки переглянулись опять. Лицо пана стало изменяться к худшему.

– Семьсот, семьсот, а не пятьсот, сейчас, сию минуту в руки! – надбавил Митя, почувствовав нечто нехорошее. – Чего ты, пан? Не веришь? Не все же три тысячи дать тебе сразу. Я дам, а ты и воротись к ней завтра же... Да теперь и нет у меня всех трех тысяч, у меня в городе дома лежат, – лепетал Митя, труся и падая духом с каждым своим словом, – ей-богу лежат, спрятаны...

В один миг чувство необыкновенного собственного достоинства засияло в лице маленького пана:

– Чи не потшебуешь еще чéго? – спросил он иронически. – Пфе! А пфе! (стыд, срам!) – И он плюнул. Плюнул и пан Врублевский.

– Это ты оттого плюешься, пане, – проговорил Митя, как отчаянный, поняв, что все кончилось, – оттого что от Грушеньки думаешь больше тяпнуть. Каплуны вы оба, вот что!

– Едем до живого доткнутым! (Я оскорблен до последней степени!) – раскраснелся вдруг маленький пан, как рак, и живо, в страшном негодовании, как бы не желая больше ничего слушать, вышел из комнаты. За ним, раскачиваясь, последовал и Врублевский, а за ними уж и Митя, сконфуженный и опешенный. Он боялся Грушеньки, он предчувствовал, что пан сейчас раскричится. Так и случилось. Пан вошел в залу и театрально встал перед Грушенькой.

– Пани Агриппина, едем до живого доткнутым! – воскликнул было он, но Грушенька как бы вдруг потеряла всякое терпение, точно тронули ее по самому больному месту.

– По-русски, говори по-русски, чтобы ни одного слова польского не было! – закричала она на него. – Говорил же прежде по-русски, неужели забыл в пять лет! – она вся покраснела от гнева.

– Пани Агриппина...

– Я, Аграфена, я, Грушенька, говори по-русски или слушать не хочу! – пан запыхтел от гонора и, ломая русскую речь, быстро и напыщенно произнес:

– Пани Аграфена, я пшиехал забыть старое и простить его, забыть, что было допрежь сегодня...

– Как простить? Это меня-то ты приехал простить? – перебила Грушенька и вскочила с места.

– Так есть, пани (точно так, пани), я не малодушны, я великодушны. Но я былем здзивёны (был удивлен), когда видел твоих любовников. Пан Митя в том покое давал мне тржи тысьенцы, чтоб я отбыл. Я плюнул пану в физию.

– Как? Он тебе деньги за меня давал? – истерически вскричала Грушенька. – Правда, Митя? Да как ты смел! Разве я продажная?

– Пане, пане, – возопил Митя, – она чиста и сияет, и никогда я не был ее любовником! Это ты соврал...

– Как ты смеешь меня пред ним защищать, – вопила Грушенька, – не из добродетели я чиста была и не потому, что Кузьмы боялась, а чтобы пред ним гордой быть и чтобы право иметь ему подлеца сказать, когда встречу. Да неужто ж он с тебя денег не взял?

– Да брал же, брал! – воскликнул Митя, – да только все три тысячи разом захотел, а я всего семьсот задатку давал.

– Ну и понятно: прослышал, что у меня деньги есть, а потому и приехал венчаться!

– Пани Агриппина, – закричал пан, – я – рыцарь, я – шляхтич, а не лайдак! Я пшибыл взять тебя в супругу, а вижу нову пани, не ту, что прежде, а упарту и без встыду (своенравную и бесстыдную).

– А и убирайся откуда приехал! Велю тебя сейчас прогнать, и прогонят! – крикнула в исступлении Грушенька. – Дура, дура была я, что пять лет себя мучила! Да и не за него себя мучила вовсе, я со злобы себя мучила! Да и не он это вовсе. Разве он был такой? Это отец его какой-то! Это где ты парик-то себе заказал? Тот был сокол, а это селезень. Тот смеялся и мне песни пел... А я-то, я-то пять лет слезами заливалась, проклятая я дура, низкая я, бесстыжая!

Она упала на свое кресло и закрыла лицо ладонями. В эту минуту вдруг раздался в соседней комнате слева хор собравшихся наконец мокринских девок – залихватская плясовая песня.

– То есть сбдом! – взревел вдруг пан Врублевский. – Хозяин, прогони бесстыжих!

Хозяин, который давно уже с любопытством заглядывал в дверь, слыша крик и чуя, что гости перессорились, тотчас явился в комнату.

– Ты чего кричишь, глотку рвешь? – обратился он к Врублевскому с какою-то непонятною даже невежливостью.

– Скотина! – заорал было пан Врублевский.

– Скотина? А ты в какие карты сейчас играл? Я подал тебе колоду, а ты мои спрятал! Ты в поддельные карты играл! Я тебя за поддельные карты в Сибирь могу упрятать, знаешь ты это,

потому, оно все одно что бумажки поддельные... – И, подойдя к дивану, он засунул пальцы между спинкой и подушкой дивана и вытащил оттуда нераспечатанную колоду карт.

– Вот она моя колода, не распечатана! – он поднял ее и показал всем кругом, – я ведь видел оттелева, как он мою колоду сунул в щель, а своей подменил, – шильник ты этакой, а не пан!

– А я видел, как тот пан два раза передернул, – крикнул Калганов.

– Ах, как стыдно, ах, как стыдно! – воскликнула Грушенька, всплеснув руками, и воистину покраснела от стыда. – Господи, экой, экой стал человек!

– И я это думал, – крикнул Митя. Но не успел он это выговорить, как пан Врублевский, сконфуженный и взбешенный, обратясь к Грушеньке и грозя ей кулаком, закричал:

– Публична шельма! – Но не успел он и воскликнуть, как Митя бросился на него, обхватил его обеими руками, поднял на воздух и в один миг вынес его из залы в комнату направо, в которую сейчас только водил их обоих.

– Я его там на пол положил! – возвестил он, тотчас же возвратившись и задыхаясь от волнения, – дерется каналья, небось не придет оттуда!.. – он запер одну половинку двери и, держа настежь другую, воскликнул маленькому пану:

– Ясневельможный, не угодно ли туда же? Пшепрошам!

– Батюшка, Митрий Федорович, – возгласил Трифон Борисыч, – да отбери ты у них деньги-то, то, что им проиграл! Ведь все равно что воровством с тебя взяли.

– Я свои пятьдесят рублей не хочу отбирать, – отозвался вдруг Калганов.

– И я свои двести, и я не хочу! – воскликнул Митя, – ни за что не отберу, пусть ему в утешение останутся.

– Славно, Митя! Молодец, Митя! – крикнула Грушенька, и страшно злобная нотка прозвенела в ее восклицании. Маленький пан, багровый от ярости, но несколько не потерявший своей сановитости, направился было к двери, но остановился и вдруг проговорил, обращаясь к Грушеньке:

– Пани, ежели хцешь исыць за мною, идзьмы, если не – бывай здорова! (Пани, если хочешь идти за мной – пойдем, а если нет – то прощай!)

И важно, пыхтя от негодования и амбиции, прошел в дверь. Человек был с характером: он еще после всего происшедшего не терял надежды, что пани пойдет за ним, – до того ценил себя. Митя прихлопнул за ним дверь.

– Заприте их на ключ, – сказал Калганов. Но замок щелкнул с их стороны, они заперлись сами.

– Славно! – злобно и беспощадно крикнула опять Грушенька. – Славно! Туда и дорога!

## VIII Бред

Началась почти оргия, пир на весь мир. Грушенька закричала первая, чтоб ей дали вина: «Пить хочу, совсем пьяная хочу напиться, чтобы как прежде, помнишь, Митя, помнишь, как мы здесь тогда спознавались!» Сам же Митя был как в бреду и предчувствовал «свое счастье». Грушенька его, впрочем, от себя непрерывно отгоняла: «Ступай, веселись, скажи им, чтобы плясали, чтобы все веселились, “ходи изба, ходи печь”, как тогда, как тогда!» – продолжала она восклицать. Была она ужасно возбуждена. И Митя бросался распоряжаться. Хор собрался в соседней комнате. Та же комната, в которой до сих пор сидели, была к тому же и тесна, разгорожена надвое ситцевою занавеской, за которою опять-таки помещалась огромная кровать с пухлою периной и с такими же ситцевыми подушками горкой. Да и во всех четырех «чистых» комнатах этого дома везде были кровати. Грушенька расположилась в самых дверях, Митя ей принес сюда кресло: так же точно сидела она и «тогда», в день их первого здесь кутежа, и

смотрела отсюда на хор и на пляску. Девки собрались все тогдашние же. Жидки со скрипками и цитрами тоже прибыли, а наконец-то прибыл и столь ожидаемый воз на тройке с винами и припасами. Митя суетился. В комнату входили глядеть и посторонние, мужики и бабы, уже спавшие, но пробудившиеся и почувывшие небывалое угощение, как и месяц назад. Митя здоровался и обнимался со знакомыми, припоминал лица, откупоривал бутылки и наливал всем кому попало. На шампанское зарились очень только девки, мужикам же нравился больше ром и коньяк и особенно горячий пунш. Митя распорядился, чтобы был сварен шоколад на всех девок и чтобы не переводились всю ночь и кипели три самовара для чаю и пунша на всякого проходящего: кто хочет, пусть и угощается. Одним словом, началось нечто беспорядочное и нелепое, но Митя был как бы в своем родном элементе, и чем нелепее все становилось, тем больше он оживлялся духом. Попроси у него какой-нибудь мужик в те минуты денег, он тотчас же вытащил бы всю свою пачку и стал бы раздавать направо и налево без счету. Вот почему, вероятно, чтоб уберечь Митю, сновал кругом его почти безотлучно хозяин, Трифон Борисыч, совсем уж, кажется, раздумавший ложиться спать в эту ночь, пивший, однако, мало (всего только выкушал один стаканчик пуншу) и зорко наблюдавший по-своему за интересами Мити.

В нужные минуты он ласково и подобострастно останавливал его и уговаривал, не давал ему оделять, как «тогда», мужиков «цыгарками и ренским вином» и, боже сохрани, деньгами, и очень негодовал на то, что девки пьют ликер и едят конфеты:

«Вшивость лишь одна, Митрий Федорович, – говорил он, – я их коленком всякую напиною, да еще за честь почитать прикажу – вот они какие!» Митя еще раз вспомнул про Андрея и велел послать ему пуншу. «Я его давеча обидел», – повторял он ослабевшим и умиленным голосом. Калганов не хотел было пить, и хор девок ему сначала не понравился очень, но, выпив еще бокала два шампанского, страшно развеселился, шагал по комнатам, смеялся и все и всех хвалил, и песни, и музыку. Максимов, блаженный и пьяненький, не покидал его. Грушенька, тоже начинавшая хмелеть, указывала на Калганова Мите: «Какой он миленький, какой чудесный мальчик!» И Митя с восторгом бежал целоваться с Калгановым и Максимовым.

О, он многое предчувствовал; ничего еще она ему не сказала такого и даже, видимо, нарочно задерживала сказать, изредка только поглядывая на него ласковым, но горячим глазком. Наконец она вдруг схватила его крепко за руку и с силой притянула к себе. Сама она сидела тогда в креслах у дверей.

– Как это ты давеча вошел-то, а? Как ты вошел-то!.. я так испугалась. Как же ты меня ему уступить-то хотел, а? Неужто хотел?

– Счастья твоего губить не хотел! – в блаженстве лепетал ей Митя. Но ей и не надо было ответа:

– Ну, ступай... веселись, – отгоняла она его опять, – да не плачь, опять позову.

И он убежал, а она принималась опять слушать песни и глядеть на пляску, следя за ним взглядом, где бы он ни был, но через четверть часа опять подзывала его, и он опять прибежал.

– Ну, садись теперь подле, рассказывай, как ты вчера обо мне услышал, что я сюда приехала; от кого от первого узнал?

И Митя начинал все рассказывать, бессвязно, беспорядочно, горячо, но странно однако же рассказывал, часто вдруг хмурил брови и обрывался.

– Чего ты хмуришься-то? – спрашивала она.

– Ничего... одного больного там оставил. Кабы выздоровел, кабы знал, что выздоровеет, десять бы лет сейчас моих отдал!

– Ну, бог с ним, коли больной. Так неужто ты хотел завтра застрелить себя, экой глупый, да из-за чего? Я вот этаких как ты безрассудных люблю, – лепетала она ему немного отяжелевшим языком. – Так ты для меня на все пойдешь? А? И неужто ж ты, дурачок, вправду хотел завтра застрелиться!

Нет, погоди пока, завтра я тебе, может, одно словечко скажу... не сегодня скажу, а завтра. А ты бы хотел сегодня? Нет, я сегодня не хочу... Ну, ступай, ступай теперь, веселись.

Раз, однако, она подозвала его как бы в недоумении и озабоченно.

– Чего тебе грустно? Я вижу, тебе грустно... Нет, уж я вижу, – прибавила она, зорко взглядываясь в его глаза. – Хоть ты там и целуешься с мужиками и кричишь, а я что-то вижу. Нет, ты веселись, я весела и ты веселись... Я кого-то здесь люблю, угадай кого?.. Ай, посмотри: мальчик-то мой заснул, охмелел сердечный.

Она говорила про Калганова: тот действительно охмелел и заснул на мгновение, сидя на диване. И не от одного хмеля заснул, ему стало вдруг отчего-то грустно или, как он говорил, «скучно». Сильно обескуражили его под конец и песни девок, начинавшие переходить, постепенно с попойкой, в нечто слишком уже скоромное и разнузданное. Да и пляски их тоже: две девки переоделись в медведей, а Степанида, бойкая девка с палкой в руке, представляя жожака, стала их «показывать». «Веселей, Марья, – кричала она, – не то палкой!» Медведи наконец повалились на пол как-то совсем уж неприлично, при громком хохоте набравшейся, не в прорез, всякой публики баб и мужиков. «Ну и пусть их, ну и пусть их, – говорила сентенциозно Грушенька с блаженным видом на лице, – кой-то денек выйдет им повеселиться, так и не радоваться людям?» Калганов же смотрел так, как будто чем запачкался. «Свинство это все, эта вся народность, – заметил он, отходя, – это у них весенние игры, когда они солнце берегут во всю летнюю ночь». Но особенно не понравилась ему одна «новая» песенка с бойким плясовым напевом, пропетая о том, как ехал барин и девушек пытал:

Барин девушек пытал,  
Девки любят али нет?

Но девкам показалось, что нельзя любить барина:

Барин будет больно бить,  
А я его – не любить.

Ехал потом цыган (произносилось цыган) и этот тоже:

Цыган девушек пытал,  
Девки любят али нет?

Но и цыгана нельзя любить:

Цыган будет воровать,  
А я буду горевать.

И много проехало так людей, которые пытали девушек, даже солдат:

Солдат девушек пытал,  
Девки любят али нет?

Но солдата с презрением отвергли:

Солдат будет ранец несть,  
А я за ним...

Тут следовал самый нецензурный стишок, пропетый совершенно откровенно и производивший фурор в слушавшей публике. Кончилось, наконец, дело на купце:

Купчик девушек пытал,  
Девки любят али нет?

И оказалось, что очень любят, потому, дескать, что:

Купчик будет торговать,  
А я буду царевать.

Калганов даже озлился:

– Это совсем вчерашняя песня, – заметил он вслух, – и кто это им сочиняет! Недостает, чтобы железнодорожник аль жид проехали и девушек пытали: эти всех бы победили. И, почти обидевшись, он тут же и объявил, что ему скучно, сел на диван и вдруг задремал. Хорошенькое личико его несколько побледнело и откинулось на подушку дивана.

– Посмотри, какой он хорошенький, – говорила Грушенька, подводя к нему Митю, – я ему давеча головку расчесывала, волоски точно лен и густые...

И, нагнувшись над ним в умилении, она поцеловала его лоб. Калганов в один миг открыл глаза, взглянул на нее, привстал и с самым озабоченным видом спросил: где Максимов?

– Вот ему кого надо, – засмеялась Грушенька, – да посиди со мной минутку. Митя, сбегай за его Максимовым.

Оказалось, что Максимов уж и не отходил от девок, изредка только отбегал налить себе ликерчику, шоколаду же выпил две чашки. Личико его покраснелось, а нос побагровел, глаза стали влажные, сладостные. Он подбежал и объявил, что сейчас «под один мотивчик» хочет протанцевать танец саботьеру.

– Меня ведь маленького всем этим благовоспитанным светским танцам обучали-с...

– Ну ступай, ступай с ним, Митя, а я отсюда посмотрю, как он там танцовать будет.

– Нет, и я пойду смотреть, – воскликнул Калганов, самым наивным образом отвергая предложение Грушеньки посидеть с ним. И все направились смотреть. Максимов действительно свой танец протанцевал, но, кроме Мити, почти ни в ком не произвел особенного восхищения. Весь танец состоял в каких-то подпрыгиваниях с вывертыванием в стороны ног, подошвами кверху, и с каждым прыжком Максимов ударял ладонью по подошве. Калганову совсем не понравилось, а Митя даже облобызал танцора.

– Ну, спасибо, устал, может, что глядишь сюда: конфетку хочешь, а? Цыгарочку, может, хочешь?

– Папиросочку-с.

– Выпить не хочешь ли?

– Я тут ликерцу-с... А шоколадных конфеточек у вас нет-с!

– Да вот на столе целый воз, выбирай любую, голубиная ты душа!

– Нет-с, я такую-с, чтобы с ванилью... для старичков-с... Хи-хи!

– Нет, брат, таких особенных нет.

– Послушайте! – нагнулся вдруг старичок к самому уху Мити, – эта вот девочка-с, Марыюшка-с, хи-хи! Как бы мне, если бы можно, с нею познакомиться, по доброте вашей...

– Ишь ты чего захотел! Нет, брат, врешь.

– Я никому ведь зла не делаю-с, – уныло прошептал Максимов.

– Ну, хорошо, хорошо. Здесь, брат, только поют и пляшут, а впрочем, черт! Подожди...

Кушай пока, ешь, пей, веселись. Денег не надо ли?

– Потом бы разве-с, – улыбнулся Максимов.

– Хорошо, хорошо...

Голова горела у Мити. Он вышел в сени на деревянную верхнюю галерейку, обходившую изнутри, со двора, часть всего строения. Свежий воздух оживил его. Он стоял один, в темноте, в углу, и вдруг схватил себя обеими руками за голову.

Разбросанные мысли его вдруг соединились, ощущения слились воедино, и все дало свет. Страшный, ужасный свет! «Вот если застрелиться, так когда же, как не теперь?» – пронеслось в уме его. «Сходить за пистолетом, принести его сюда и вот в этом самом, грязном и темном углу и покончить». Почти с минуту он стоял в нерешимости. Давеча, как летел сюда, сзади него стоял позор, совершенное, содеянное уже им воровство и эта кровь, кровь!.. Но тогда было легче, о, легче! Ведь уж все тогда было покончено: ее он потерял, уступил, она погибла для него, исчезла – о, приговор тогда был легче ему, по крайней мере казался неминуемым, необходимым, ибо для чего же было оставаться на свете? А теперь? Теперь разве то, что тогда? Теперь с одним, по крайней мере, привидением, страшилищем, покончено: этот ее «прежний», ее беспорный, фатальный человек этот исчез, не оставив следа. Страшное привидение обратилось вдруг во что-то такое маленькое, такое комическое; его снесли руками в спальню и заперли на ключ. Оно никогда не воротится. Ей стыдно, и из глаз ее он уже видит теперь ясно, кого она любит. Но, вот теперь бы только и жить – и... и нельзя жить, нельзя, о, проклятие! «Боже, оживи поверженного у забора! Пронеси эту страшную чашу мимо меня! Ведь делал же Ты чудеса, Господи, для таких же грешников, как и я! Ну что, ну что если старик жив? О, тогда срам остального позора я уничтожу, я ворочу украденные деньги, я отдам их, достану из-под земли... Следов позора не останется, кроме как в сердце моем навеки! Но нет, нет, о, невозможные, малодушные мечты! О, проклятие!»



Но все же как бы луч какой-то светлой надежды блеснул ему во тьме. Он сорвался с места и бросился в комнаты – к ней, к ней опять, к царице его навеки! «Да неужели один час, одна минута ее любви не стоят всей остальной жизни, хотя бы и в муках позора?» Этот дикий вопрос захватил его сердце. «К ней, к ней одной, ее видеть, слушать и ни о чем не думать, обо всем забыть, хотя бы только на эту ночь, на час, на мгновение!» Пред самым входом в сени, еще на галерейке, он столкнулся с хозяином Трифоном Борисычем. Тот что-то показался ему мрачным и озабоченным и, кажется, шел его разыскивать.

– Что ты, Борисыч, не меня ли искал?

– Нет-с, не вас, – как бы опешил вдруг хозяин, – зачем мне вас разыскивать? А вы... где были-с?

– Что ты такой скучный? Не сердись ли? Погоди, скоро спать пойдешь... Который час-то?

– Да уж три часа будет. Надо быть, даже четвертый.

– Кончим, кончим.

– Помилуйте, ничего-с. Даже сколько угодно-с...

«Что с ним?» – мельком подумал Митя и вбежал в комнату, где плясали девки. Но ее там не было. В голубой комнате тоже не было; один лишь Калганов дремал на диване. Митя глянул за занавесы – она была там. Она сидела в углу, на сундуке, и, склонившись с руками и с головой на подле стоявшую кровать, горько плакала, изо всех сил крепясь и скрадывая голос, чтобы не услышали. Увидав Митю, она поманила его к себе и, когда тот подбежал, крепко схватила его за руку.

– Митя, Митя, я ведь любила его! – начала она ему шепотом, – так любила его, все пять лет, все, все это время! Его ли любила али только злобу мою? Нет, его! Ох, его! Я ведь лгу, что любила только злобу мою, а не его! Митя, ведь я была всего семнадцати лет тогда, он тогда был такой со мной ласковый, такой развеселый, мне песни пел... Или уж показался тогда таким дуре мне, девчонке... А теперь, Господи, да это не тот, совсем и не он. Да и лицом не он, не он вовсе. Я и с лица его не узнала. Ехала я сюда с Тимофеем и все-то думала, всю дорогу думала: «Как встречу его, что-то скажу, как глядеть-то мы друг на друга будем?..» Вся душа замирала, и вот он меня тут точно из шайки помоями окатил. Точно учитель говорит: все такое ученое, важное, встретил так важно, так я и стала в тупик. Слова некуда ввернуть. Я сначала думала, что он этого своего длинного поляка-то стыдится. Сижу, смотрю на них и думаю: почему это я так ничего с ним говорить теперь не умею? Знаешь, это его жена испортила, вот на которой он, бросив меня, тогда женился... Это она его там переделала. Митя, стыд-то какой! Ох, стыдно мне, Митя, стыдно, ох, за всю жизнь мою стыдно! Прокляты, прокляты пусть будут эти пять лет, прокляты! – И она опять залилась слезами, но Митину руку не выпускала, крепко держалась за нее.

– Митя, голубчик, постой, не уходи, я тебе одно словечко хочу сказать, – прошептала она и вдруг подняла к нему лицо. – Слушай, скажи ты мне, кого я люблю? Я здесь одного человека люблю. Который это человек? вот что скажи ты мне. – На распухшем от слез лице ее засветилась улыбка, глаза сияли в полутьме. – Вошел давеча один сокол, так сердце и упало во мне: «Дура ты, вот кого ведь ты любишь», – так сразу и шепнуло сердце. Вошел ты и все осветил. «Да чего он боится?» – думаю. А ведь ты забоялся, совсем забоялся, говорить не умел.

Не их же, думаю, он боится – разве ты кого испугаться можешь? Это меня он боится, думаю, только меня. Так ведь рассказала же тебе, дурачку, Феня, как я Алеше в окно прокричала, что любила часочек Митеньку, а теперь еду любить... другого. Митя, Митя, как это я могла, дура, подумать, что люблю другого после тебя! Прощаешь, Митя? Прощаешь меня или нет? Любишь? Любишь?

Она вскочила и схватила его обеими руками за плечи. Митя, немой от восторга, глядел ей в глаза, в лицо, на улыбку ее, и вдруг, крепко обняв ее, бросился ее целовать.

– А простишь, что мучила? Я ведь со злобы всех вас измучила. Я ведь старикашку того нарочно со злобы с ума свела... Помнишь, как ты раз у меня пил и бокал разбил? Запомнила я это и сегодня тоже разбила бокал, за «подлое сердце мое» пила. Митя, сокол, что ж ты меня не целуешь? Раз поцеловал и оторвался, глядит, слушает... Что меня слушать! Целуй меня, целуй крепче, вот так. Любить, так уж любить! Раба твоя теперь буду, раба на всю жизнь! Сладко рабой быть!.. Целуй! Прибей меня, мучай меня, сделай что надо мной... Ох, да и впрямь меня надо мучить... Стой! Подожди, потом, не хочу так... – оттолкнула она его вдруг. – Ступай

прочь, Митька, пойду теперь вина напьюсь, пьяна хочу быть, сейчас пьяная плясать пойду, хочу, хочу!

Она вырвалась от него из-за занавесок. Митя вышел за ней, как пьяный. «Да пусть же, пусть, что бы теперь ни случилось – за минуту одну весь мир отдам», – промелькнуло в его голове. Грушенька в самом деле выпила залпом еще стакан шампанского и очень вдруг охмелела. Она уселась в кресле, на прежнем месте, с блаженной улыбкой. Щеки ее запылали, губы разгорелись, сверкавшие глаза посоловели, страстный взгляд манил. Даже Калганова как будто укусило что-то за сердце, и он подошел к ней.

– А ты слышал, как я тебя давеча поцеловала, когда ты спал? – пролепетала она ему. – Опьянела я теперь, вот что... А ты не опьянел? А Митя чего не пьет? Что ж ты не пьешь, Митя, я выпила, а ты не пьешь... – Пьян! И так пьян... от тебя пьян, а теперь и от вина хочу. – Он выпил еще стакан и – странно это ему показалось самому – только от этого последнего стакана и охмелел, вдруг охмелел, а до тех пор все был трезв, сам помнил это. С этой минуты все завертелось кругом него, как в бреду. Он ходил, смеялся, заговаривал со всеми и все это как бы уж не помня себя. Одно лишь неподвижное и жгучее чувство сказывалось в нем поминутно, «точно горячий уголь в душе», вспоминал он потом. Он подходил к ней, садился подле нее, глядел на нее, слушал ее... Она же стала ужасно как словоохотлива, всех к себе подзывала, манила вдруг к себе какую-нибудь девку из хора, та подходила, а она или целовала ее и отпускала, или иногда крестила ее рукой. Еще минутку и она могла заплакать. Развеселял ее очень и «старикашка», как называла она Максимова. Он поминутно подбегал целовать у нее ручки «и всякий пальчик», а под конец проплясал еще один танец под одну старую песенку, которую сам же и пропел. В особенности с жаром подплясывал за припевом: Свинушка хрю-хрю, хрю-хрю,

Телочка му-му, му-му,  
Уточка ква-ква, ква-ква,  
Гусынька га-га, га-га,  
Курочка по сеньюшкам похаживала,  
Тюрю-рю, рю-рю, выговаривала,  
Ай, ай, выговаривала!

– Дай ему что-нибудь, Митя, – говорила Грушенька, – подари ему, ведь он бедный. Ах, бедные, обиженные!..

Знаешь, Митя, я в монастырь пойду. Нет, вправду, когда-нибудь пойду. Мне Алеша сегодня на всю жизнь слова сказал... Да... А сегодня уж пусть попляшем. Завтра в монастырь, а сегодня попляшем. Я шалить хочу, добрые люди, ну и что ж такое, Бог простит. Кабы Богом была, всех бы людей простила: «Милые мои грешнички, с этого дня прощаю всех». А я пойду прощения просить: «Простите, добрые люди, бабу глупую, вот что». Зверь я, вот что. Я молиться хочу. Я луковку подала. Злодейке такой, как я, молиться хочется! Митя, пусть пляшут, не мешай. Все люди на свете хороши, все до единого. Хорошо на свете. Хоть и скверные мы, а хорошо на свете, скверные мы и хорошие, и скверные и хорошие... Нет, скажите, и вас спрошу, все подойдите, и я спрошу: скажите вы мне все вот что: почему я такая хорошая? Я ведь хорошая, я очень хорошая... Ну, так вот: почему я такая хорошая? – Так лепетала Грушенька, хмелея все больше и больше, и наконец прямо объявила, что сейчас сама хочет плясать. Встала с кресел и пошатнулась. – Митя, не давай мне больше вина, просить буду – не давай. Вино спокойствия не дает. И все кружится, и печка, и все кружится. Плясать хочу. Пусть все смотрят, как я пляшу... как я хорошо и прекрасно пляшу...

Намерение было серьезное: она вынула из кармана беленький батистовый платочек и взяла его за кончик, в правую ручку, чтобы махать им в пляске. Митя захлопотал, девки затихли, приготовившись грянуть хором плясовую по первому мгновению. Максимов, узнав, что

Грушенька хочет сама плясать, завизжал от восторга и пошел было пред ней подпрыгивать припевая:

Ножки тонки, бока звонки,  
Хвостик закорючкой.

Но Грушенька махнула на него платочком и отогнала его:

– Ш-шь! Митя, что ж нейдут? Пусть все придут... смотреть. Позови и тех, запертых... За что ты их запер? Скажи им, что я пляшу, пусть и они смотрят, как я пляшу...

Митя с пьяным размахом подошел к запертой двери и начал стучать к панам кулаком.

– Эй вы... Подвысоцкие! Выходите, она плясать хочет, вас зовет.

– Лайдак! – прокричал в ответ который-то из панов.

– А ты подлайдак! Мелкий ты подлеченочек; вот ты кто.

– Перестали бы вы над Польшей-то насмеяться, – сентенциозно заметил Калганов, тоже не под силу себе охмелевший.

– Молчи, мальчик! Если я ему сказал подлеца, не значит, что я всей Польше сказал подлеца. Не составляет один лайдак Польши. Молчи, хорошенький мальчик, конфетку кушай.

– Ах какие! Точно они не люди. Чего они не хотят мириться? – сказала Грушенька и вышла плясать. Хор грянул: «Ах вы, сени мои, сени». Грушенька закинула было головку, полуоткрыла губки, улыбнулась, махнула было платочком и вдруг, сильно покачнувшись на месте, стала посреди комнаты в недоумении.

– Слаба... – проговорила она измученным каким-то голосом, – простите, слаба, не могу... Виновата...

Она поклонилась хору, затем принялась кланяться на все четыре стороны поочередно:

– Виновата... Простите...

– Подпила, барынька, подпила хорошенькая барынька, – раздавались голоса.

– Оне напились-с, – разъяснял, хихикая, девушкам Максимов.

– Митя, отведи меня... возьми меня, Митя, – в бессилии проговорила Грушенька. Митя кинулся к ней, схватил ее на руки и побежал со своею драгоценною добычей за занавески. «Ну, уж я теперь уйду», – подумал Калганов, и, выйдя из голубой комнаты, притворил за собою обе половинки дверей. Но пир в зале гремел и продолжался, загремел еще пуще. Митя положил Грушеньку на кровать и впился в ее губы поцелуем.

– Не трогай меня... – молящим голосом пролепетала она ему, – не трогай, пока не твоя... Сказала, что твоя, а ты не трогай... пощади... При тех, подле тех нельзя. Он тут. Гнусно здесь...

– Послушен! Не мыслю... благоговею!.. – бормотал Митя. – Да, гнусно здесь, о, презренно. – И, не выпуская ее из объятий, он опустился подле кровати на пол, на колени.

– Я знаю, ты хоть и зверь, а ты благородный, – тяжело выговаривала Грушенька, – надо, чтоб это честно... впредь будет честно... и чтоб и мы были честные, чтоб и мы были добрые, не звери, а добрые... Увези меня, увези далеко, слышишь... Я здесь не хочу, а чтобы далеко, далеко...

– О да, да, непременно! – сжимал ее в объятиях Митя, – увезу тебя, улетим... О, всю жизнь за один год отдам сейчас, чтобы только не знать про эту кровь!

– Какая кровь? – в недоумении переговорила Грушенька.

– Ничего! – проскрежетал Митя. – Груша, ты хочешь, чтобы честно, а я вор. Я у Катьки деньги украл... Позор, позор!

– У Катьки? Это у барышни? Нет, ты не украл. Отдай ей, у меня возьми... Что кричишь! Теперь все мое – твое. Что нам деньги? Мы их и без того прокутим... Таковские чтобы не прокутили. А мы пойдем с тобою лучше землю пахать. Я землю вот этими руками скрести хочу. Трудиться надо, слышишь? Алеша приказал. Я не любовница тебе буду, я тебе верная

буду, раба твоя буду, работать на тебя буду. Мы к барышне ходим и поклонимся оба, чтобы простила, и уедем. А не простит, мы и так уедем. А ты деньги ей снеси, а меня люби... А ее не люби. Больше ее не люби. А полюбишь, я ее задушу... Я ей оба глаза иголкой выколю...

– Тебя люблю, тебя одну, в Сибири буду любить...

– Зачем в Сибирь? А что ж, и в Сибирь, коли хочешь, все равно... работать будем... в Сибири снег... Я по снегу люблю ехать... и чтобы колокольчик был... Слышишь, звенит колокольчик... Где это звенит колокольчик? Едут какие-то... вот и перестал звенеть.

Она в бессилии закрыла глаза и вдруг как бы заснула на одну минуту. Колокольчик в самом деле звенел где-то в отдалении и вдруг перестал звенеть. Митя склонился головою к ней на грудь. Он не заметил, как перестал звенеть колокольчик, но не заметил и того, как вдруг перестали и песни, и на место песен и пьяного гама во всем доме воцарилась как бы внезапная мертвая тишина, Грушенька открыла глаза.

– Что это, я спала? Да... колокольчик... Я спала и сон видела: будто я еду, по снегу... колокольчик звенит, а я дремлю. С милым человеком, с тобою еду будто. И далеко-далеко... Обнимала-целовала тебя, прижималась к тебе, холодно будто мне, а снег-то блестит... Знаешь, коли ночью снег блестит, а месяц глядит, и точно я где не на земле... Проснулась, а милый-то подле, как хорошо...

– Подле, – бормотал Митя, целуя ее платье, грудь, руки.

И вдруг ему показалось что-то странное: показалось ему, что она глядит прямо перед собой, но не на него, не в лицо ему, а поверх его головы, пристально и до странности неподвижно. Удивление вдруг выразилось в ее лице, почти испуг.

– Митя, кто это оттуда глядит сюда к нам? – прошептала она вдруг. Митя обернулся и увидел, что в самом деле кто-то раздвинул занавеску и их как бы высматривает. Да и не один как будто. Он вскочил и быстро ступил к смотревшему.

– Сюда, пожалуйста к нам сюда, – не громко, но твердо и настойчиво проговорил ему чей-то голос.

Митя выступил из-за занавески и стал неподвижно. Вся комната была полна людьми, но не давешними, а совсем новыми. Мгновенный озноб пробежал по спине его, и он вздрогнул. Всех этих людей он узнал в один миг. Вот этот высокий и дебелий старик, в пальто и с фуражкой с кокардой – это исправник, Михаил Макарыч. А этот «чахоточный» опрятный щеголь, «всегда в таких вычищенных сапогах» – это товарищ прокурора. «У него хронометр в четырех рублий есть, он показывал». А этот молоденький, маленький, в очках... Митя вот только фамилию его позабыл, но он знает и его, видел: это следователь, судебный следователь, «из правоуправления», недавно приехал. А этот вот – становой, Маврикий Маврикий, этого-то уж он знает, знакомый человек. Ну, а эти с бляхами, эти зачем же? И еще двое каких-то, мужики... А вот там в дверях Калганов и Трифон Борисыч...

– Господа... Что это вы, господа? – проговорил было Митя, но вдруг, как бы вне себя, как бы не сам собой, воскликнул громко, во весь голос:

– По-ни-маю!

Молодой человек в очках вдруг выдвинулся вперед и, подступив к Мите, начал, хоть и осанисто, но немного как бы торопясь:

– Мы имеем к вам... одним словом, я вас прошу сюда, вот сюда, к дивану... Существует настоятельная необходимость с вами объясниться.

– Старик! – вскричал Митя в испуге, – старик и его кровь!.. По-ни-маю!

И, как подкошенный, сел, словно упал, на подле стоявший стул.

– Понимаешь? Понял! Отцеубийца и изверг, кровь старика отца твоего вопиет за тобою! – заревел внезапно, подступая к Мите, старик исправник. Он был вне себя, побагровел и весь так и трясся.

– Но это невозможно! – вскричал маленький молодой человечек. – Михаил Макарыч, Михаил Макарыч! Это не так, не так-с!.. Прошу позволить мне одному говорить... Я никак не мог предположить от вас подобного эпизода...

– Но ведь это же бред, господа, бред! – восклицал исправник, – посмотрите на него: ночью, пьяный, с беспутною девкой и в крови отца своего... Бред! Бред!

– Я вас изо всех сил попрошу, голубчик, Михаил Макарыч, на сей раз удержать ваши чувства, – зашептал было скороговоркой старику товарищ прокурора, – иначе я принужден буду принять...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.